

ISSN: 2500-0225

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№2 (6)

2017

ISSN: 2500-0225

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific e-journal

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№2 (6)

2017

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2017, №2 (6)
Основан в 2016 г.

Журнал является периодическим изданием, выходящим четыре раза в год, не имеющим печатной версии. В журнале публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.

Журнал является рецензируемым научным изданием, посвященным проблемам фронта. Все статьи перед публикацией проходят экспертную оценку ведущих ученых.

- Государственная регистрация в Роскомнадзоре: Свидетельство о регистрации СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.
- ISSN: 2500-0225

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Якушенков Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,

Романова Анна Петровна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».

РЕДАКТОР АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИИ

Саракаева Элина Алиевна, кандидат филологических наук, доцент, Хайнаньский университет, Хайкоу (КНР)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР:

Алиев Растям Туктарович, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Якушенков Сергей Николаевич, (Главный редактор), доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Романова Анна Петровна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Морозова Елена Васильевна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

Федорова Мария Михайловна, доктор политических наук, ИФ РАН

Гринев Андрей Вальтерович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), профессор кафедры культурологии и социологии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ).

Khodarkovsky Michael, Ph.D. in History, professor of Loyola University Chicago.

Romaniello Matthew P., Ph.D. in History, associate Professor of History, University of Hawaii at Manoa; associate Editor «The Journal of World History»

Geraci Robert P., Ph.D. in History, associate Professor of Department of History of University of Virginia.

Sunderland Willard, Ph.D. in History, Henry R. Winkler Professor of Modern History, Department of History, University of Cincinnati.

КОНТАКТЫ:

По издательским вопросам: Главный редактор журнала (Якушенков Сергей Николаевич)

Email: editorialboard.jsf@gmail.com

По организационным вопросам: Дирекция журнала (Топчиев Михаил Сергеевич)

Email: G.F.N@inbox.ru

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис. Фронтир. Наука».

Адрес: г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 24, кв. 88

СОДЕРЖАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ФРОНТИР

Тюрин А.М.

Калмыки, караногайцы, кубанские ногайцы и крымские татары – геногеографический и геногенеалогический аспекты..... 7

Мещеряков А.Ю., Антропов О.К.

Русская диаспора на китайской земле: вариант культурной гибридности. 30

ЗАРУБЕЖНЫЙ ФРОНТИР

Камышев К.Д.

«Арабский фактор» в развитии римско-иранского пограничья 59

Кирчанов М.В.

Воображая и изобретая Сирию: алавиты как фронтирный случай возникновения нации в арабском мире.....73

Якушенкова О.С.

От войны к дипломатии: роли индейских женщин на американском фронтире.....107

CONTENT

RUSSIAN FRONTIER

Tyurin A.M.

Kalmyks, kara-nogais, kuban nogais and crimean tatars – genogeography and
genogenealogy aspects..... 7

Meshcheryakov A.Yu., Antropov O.K.

Russian diaspora in China: variant of cultural hybridity..... 30

FOREIGN FRONTIER

Kamyshev K.D.

«The arab factor» in development of the Roman-Iranian borderland 59

Kyrchanoff M.W.

Imagining and inventing Syria: alawites as frontier case of genesis of the nation
in the arabic world73

Yakushenkova O.S.

From the war to diplomacy: roles of native american women on the american
frontier107

КАЛМЫКИ, КАРАНОГАЙЦЫ, КУБАНСКИЕ НОГАЙЦЫ И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ – ГЕНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ГЕНОГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Тюрин А.М.

Тюрин Анатолий Матвеевич, к. г.-м. н., заведующий лабораторией геофизики отдела геологии и геофизики ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 460000, Оренбург, Кирова 52А, 29,
E-mail: tiurin2007@rambler.ru

Рассмотрены взаимодействия калмыков с ногаями, входившими в 17 веке в Большую Ногайскую орду, Малую Ногайскую орду и Крымское ханство, а также многочисленные переселения последних. Приведены частоты гаплогрупп Y-хромосомы монголов, калмыков и потомков ногаев – караногайцев, кубанских ногайцев и крымских татар. Во внимание принят вывод (Тюрин, 2017): генетические монголы не приходили в Восточную Европу и сопредельные регионы Азии ранее завершения обособления литовских татар (ранее начала 16 века). Исходя из этого, отмеченные у потомков ногаев монгольские гаплогруппы С, О и D (суммарно от 2,0-5,0 % у крымских татар до 8,7 % у караногайцев), могли попасть к ним только от калмыков. Выявлено генетическое влияние калмыков на другие популяции, с которыми они контактировали прямо или через ногаев. Значимые частоты монгольских гаплогрупп (1,5-7,0 %) имеются у черкесов, табасаранцев, казанских татар, турок и башкир. У других популяций Северного Кавказа и Восточной Европы эти гаплогруппы либо не выявлены, либо отмечены их единичные носители. Черкесы прямо контактировали с калмыками, ногаями и их потомками кубанскими ногайцами. В Турцию было несколько переселений ногаев и крымских татар. Возможно, существовал и поток калмыков (ясырь). У башкир носители монгольских гаплогрупп выявлены только на периферии региона их расселения в зонах контакта с калмыками и казахами. Пока не понятно, как монгольские гаплогруппы попали к табасаранцам. Не ясен характер их распределения в субпопуляциях поволжских татар.

Ключевые слова: геногеография, геногенеалогия, Большая Ногайская орда, Малая Ногайская орда, Крымское ханство, калмыки, караногайцы, кубанские ногайцы, крымские татары.

1. Введение

В соответствии с феноменом Традиционной истории «Монгольские завоевания 13 века», предки караногайцев, кубанских ногайцев и крымских татар являлись «титularyн нацией» Улуса Джучи и постордынских формирований 15 – начала 17 веков: Большой Ногайской орды, Малой Ногайской орды и Крымского ханства. Наличие монгольских гаплогрупп Y-хромосомы С, О и D у этих популяций подтверждает участие монголов в их генезисе. Однако, этих гаплогрупп не выявлено у других потомков «титularyн нации» – литовских татар, обособившихся в начале 16 века (Тюрин, 2017, стр. 81). Это однозначно свидетельствует о

том, что монголы не принимали участие в формировании военного сословия «степных» политических образований 15 века. Такое могло быть только в одном случае – генетические монголы не приходили в Восточную Европу и сопредельные регионы Азии ранее начала 16 века. Этот однозначный вывод является киллер-аргументом против феномена «Монгольские завоевания 13 века». В публикации (Матюшко, 2011) рассмотрены данные по 276 погребениям кочевников 13-14 веков степного Приуралья. Сделано заключение: «вопрос о наличии в регионе погребений самих монголов остается открытым» (стр. 286). То есть, погребений монголов не выявлено. Автор монографии (Трепавлов, 2016) дал справку по письменным свидетельствам: «ни малейшего следа присутствия монголов среди предков ногаев не зафиксировано какими-либо источниками» (стр. 474).

Однако, монгольские генетические маркеры имеются у караногойцев, кубанских ногайцев и крымских татар. Мы предположили, что их предки находились в тесном контакте с калмыками (генетически это монголы), пришедшими в Северный Прикаспий в 17 веке, и от них получили монгольские гаплогруппы (Тюрин, 2010). В 2016 г. появились новые данные по этим трем популяциям. Представляется целесообразным проверить наше предположение. Кроме новых данных популяционной генетики в статье рассмотрены контакты калмыков с ногаями в 17-19 веках, а также другими популяциями Восточной Европы.

2. Ногаи в 15-17 веках

«Титульной нацией» Большой Ногайской орды, Малой Ногайской орды и Крымского ханства являлись кипчаки. Отсюда названия региона их проживания – Дешт-и-Кипчак. Со второй половины 15 века они стали называться ногаями. В русских свидетельствах самые ранние упоминания ногаев и Ногайской орды относятся к 1479, 1481 и 1486 гг. (Трепавлов, 2016, стр. 5). Но самоназванием ногаев – мангыт. Так же они назывались в арабских и персидских свидетельствах. От себя добавим, что МАНГЫТ (МАНГ+УД) и МОНГОЛ (МОНГ+ЭЛЬ) – это две формы одного и того же слова. Лингвистические маркеры УД и ЭЛЬ в данном случае означают одно и то же – «сообщество». Не путают ли историки ногаев-мангытов в арабских и персидских свидетельствах с монголами?

В начале 17 века мурзы Большой Ногайской орды кочевали со своими улусами в районе рек Урал (его среднее и нижнее течение), Эмбы, Ори, Иргиза, Самары, Большого и Малого Узеней. Заходили и на правый берег Волги. Самоназвание степного объединения – Мангытский юрт (Трепавлов, 2016, стр. 124). Малая Ногайская орда занимала территорию Приазовья. Во второй половине 17 века на Куме отмечен Мажаров юрт и кочевье Меньших Нагаев. В этот же период ногаи Крымского юрта

делились на четыре группы. Большие Ногаи, две группы Малых Ногаев и ногаи, изначально проживавшие в пределах собственно Крыма.

Белгородская орда (входила в крымское ханство) занимала территорию южной части Днепро-Днестровского междуречья. В середине 16 века сюда прибыли ногаи переселенцы из-за Волги. В 1620-1630-х гг. в орде нашли приют ногаи Большой и Малой Ногайских орд, отступившие под натиском калмыков.

3. Калмыки в 17 веке

В начале 17 века ойраты (торгоутские, дербетские и некоторые другие тайши со своими улусами) вышли из Джунгарии и начали продвигаться вниз по Иртышу к границе России. В 1606 г. в Таре появился посланец тайши Урлюка, главы торгоутов (Устюгов & Златкин, 1967). Калмыкам были нужны степи для кочевий, разрешение на торговлю в сибирских городах и содействие в их борьбе с монголами, казахами и ногаями. В то время речь шла о разрешении калмыкам кочевать по рекам Камышловка и Ишим. Но что-то заставило их настойчиво двигаться на запад.

В 1608 г. отряды калмыков появились на Эмбе и «вступили в контакт» с кочевавшими здесь ногаями Большой Ногайской орды. В 1613 г. калмыки впервые перешли реку Урал. До начала 30-х годов они оттеснили ногаев с левобережья Волги. Московское правительство вынуждено было вмешаться в этот вопрос и в 1631 г. кочевья были возвращены ногаям. Но закрепиться там им не удалось. В 1633 и 1634 гг. калмыки совершили нападения на ногаев, кочевавших под Астраханью. Попытка ногайских мурз договориться с калмыками о совместной кочевке на левобережье Волги успеха не принесла. В 1639 г. калмыки подошли к Самаре и начали кочевать в ее окрестностях. К этому времени их кочевья заняли всю территорию Большой Ногайской орды.

В 1644 г. значительные отряды калмыков перешли Волгу, потом Терек, и вступили на территорию Кабарды, но были здесь разгромлены союзными силами кабардинцев, ногаев, горских народов и Крымского ханства. «Были убиты и попали в плен около 10 тыс. калмыков» (Бобров & Рюмшин, 2015, стр. 360). «Через несколько месяцев после сражения к кабардинским князьям Алегукке и Хатокшоке приезжало калмыцкое посольство с просьбой отдать им пленных за выкуп. Князья не возражали, но никого из своих соплеменников калмыцкое посольство у кабардинцев и малоногайцев не обнаружило, так как они были «распроданы в горы в разные земли до их приезде» [ссылка на источник]. Пленные могли быть не столько распроданы, сколько оказаться в горах в качестве трофеев» (Бегеулов, 2014, стр. 214-215).

В период 1655-1664 гг. Московское правительство заключило с калмыками ряд соглашений. Калмыки вошли в российское подданство и

периодически давали шерт (брали на себя определенные обязательства). Им были определены степные угодья. По левому берегу Волги от Каспия до Самары, по правому – до Царицына. На западе – до Дона. Сохранили они и свои кочевья в междуречье Волги и Урала, а также на Эмбе и Иргизе. Как союзники Московского царства, калмыки приняли активное участие в Русско-Польской войне 1654-1667 гг. Выставляли на Левобережную Украину крупные конные отряды. «В начале 1664 г. общая численность калмыцкой армии на Украине достигает 20 тыс. всадников» (Бобров & Рюмшин, 2015, стр. 362). В ходе военных действий калмыки серьезно ослабили Крымское ханство и его союзников ногаев. При Аюке (правил в период 1672-1724 гг.) произошло становление Калмыцкого ханства в составе России. В него вошло и часть ногайских улусов (Торопицын, 2011, стр. 331). «Численность населения Калмыцкого ханства «при Аюке», по оценке В.Н. Татищева, составляла 70 тыс. калмыцких и более 30 тыс. татарских (в основном, ногайцев) кибиток» (Очиров, 2009, стр. 117). По оценкам специалистов численность «кибитки» (семьи) примерно 5 человек.

Итак, первые контакты калмыков с ногаями Большой орды произошли в 1608 г. К концу 40-х их остатки были вытеснены за Волгу. В 1644 г. калмыки вступили в контакт с Приазовскими ногаями и народами Северного Кавказа. После битвы в Кабарде (1644 г.) пленные калмыки были «распроданы в горы в разные земли». Но взаимодействие с ногаями было не только военным. В 1661 г. решился вопрос с ногаями западной части Прикаспия. Они приняли ультиматум калмыков. Часть их мурз стала кочевать вблизи Терека, другая вошла в калмыцкие улусы. В 1669 и 1670 гг. два калмыцких тайши, поссорившись с Аюкой, боровшимся за власть, откочевали со своими улусами к приазовским ногаям (Устюгов & Златкин, 1967). Но вскоре они помирились с вождем калмыков и вернулись в Прикаспий.

4. Ногаи в 18-19 веках

В начале 18 века часть Большой Ногайской орды – джетисанцы и джембуйлуки, находились в западном Прикаспии под властью калмыцкого хана Аюки (Торопицын, 2011, стр. 331). Были и ногаи, которые проживали около Астрахани под управление российской администрации. Ногаи Кубанской орды подчинялись Крымскому ханству и управлялись Бахты-Гиреем. В 1715 г. Бахты-Гирей увел на Кубань «свыше десяти тысяч джетисанцев и джембуйлуков, кочевавших вместе с калмыцкими улусами» (стр. 331). Но в 1716 и 1717 гг. калмыкам удалось их вернуть. В 1723 г. в калмыцких улусах началась смута. Джетисанцы и джембуйлуки начали откочевывать на Кубань. В 1724 г. их оставшихся соплеменников опять увел Бахты-Гирей (стр. 333). Часть кочевавших на Тереке ногаев ушла на Кубань сама. В 1728 г. калмыки организовали поход на Кубань для

возвращения «своих» ногаев. Но власти Турции их опередили. Они перевели джетисанцев и джембуйлуков, а также других ногаев в Белгородскую орду (через Крым). В 1733 г. крымские войска увели и тех ногаев, которые кочевали за Тереком. В 1747 г. часть ногаев из Белгородской орды крымский хан переселил на Кубань. С другой стороны, России удалось в 1736-1739 гг. вывести из турецких владений ногаев-салтанаульцев и поселить их в междуречье Терека и Кумы. Но часть из них вернулась на Кубань.

В 1743 г. в Россию силой возвращено около 3 тыс. ногаев-салтанаульцев. В Нижнем Поволжье группу разделили по социальному признаку. Их мурз и старшин с женами и служителями (всего 568 человек) отправили на поселение в казанскую Татарскую слободу (Торопицын, 2012, стр. 111). В Казанской губернии часть их людей (261 человек) решили передать свияжским татарским мурзам. Из оставшихся в Нижнем Поволжье салтанаульцев молодых мужчин и мальчиков определили в армию и школу. Остальных распределили по калмыцким улусам либо в окрестностях Астрахани под присмотром астраханских властей. Кроме салтанаульцев, 646 ногаев-кундровцев было отправлено с Нижнего Поволжья в Казань, а впоследствии в Оренбургскую губернию (Торопицын, 2011, стр. 349). В 1745 г. малые ногаи (салтанаульцы или касаевцы) начали переговоры о возвращении с Кубани в Россию. Но «крымские власти перевели всех малых ногаев с Кубани вглубь своей территории» (стр. 352).

Примечательна судьба кундровцев (малебашцев), которых автор публикации (Торопицын, 2014, стр. 97) относит к Большой орде. Они кочевали южнее реки Урал, но калмыки захватили их и привели на Нижнюю Волгу. В конце 17 века кундровцы от калмыков ушли, часть в турецкие владения (на Кубань), часть к Кизляру. Последние находились в русском подданстве. Во время Персидского похода Петра I (1722-1723 гг.), участвующие в нем калмыки вернули в свои улусы кундровцев, кочевавших у Кизляра. Но вскоре большая их часть оказалась на Кубани. В период русско-турецкой войны 1736-1739 гг. часть кундровцев вновь перешла в российское подданство. Им были отведены места для кочевки на Нижней Волге. Примерно половину из них перевели в 1744 г. в Оренбургскую губернию, где зачислили в казачье сословие (Викторин, 2008, стр. 4).

В 1771 г. ногаи восточной части Белгородской орды были переселены Екатериной II на правобережье нижней Кубани (Кипкеева, 2006, стр. 6). Ее западная часть – Бурджак, осталась в составе Османской империи. Здесь сформировался субэтнос – буджацкие татары. После присоединения Буджака к России (по результатам Русско-Турецкой войны

1806-1812 гг.) буджацкие татары ушли в Добруджу. Этноним их потомков – дунайские (или румынские) татары.

После присоединения Крыма к России (1783 г.) возник план переселения ногаев Кубанской орды в степи Оренбуржья. Но что-то не сложилось. Ногаи начали вооруженную борьбу против России. «Страшный урок, данный мятежникам, был так поучителен, что навел панический страх не только на все Закубанье, но даже на крымских татар. Последние тысячами бежали в Турцию, опасаясь подвергнуться подобной же участи. Крым вскоре опустел и до настоящего времени еще не достиг той цифры народонаселения, которая была в нем при ханах. Ногайцы поступили иначе. Только злейшие противники России отделились под покровительство черкесов, остальные же явились к Суворову с повинной головой и были им переселены в Крым. На местах, где прежде кочевали ногайцы, поселено впоследствии Черноморское казачье войско» (Потто, 1899). О переселении ногаев в Крым пишет и автор публикации (Кипкеева, 2006, стр. 6), «откуда большая их часть мигрировала вместе с татарами в Османскую империю». Миграция происходила на территорию современной Турции и в Добруджу (Янковски, 2000). Граница между российскими и турецкими владениями в то время проходила по реке Кубань. Часть ногаев осталась на ее левобережье. Закубанские ногаи были частично выведены в Россию в 1785-1790 гг. В 1785 г. – в район Кизляра. После Русско-Турецкой войны 1828-1829 гг. левобережье нижней Кубани вошло в состав России. Большая часть ногаев региона эмигрировала в 1857-1861 гг. в Османскую империю. Позднее некоторые рода ногаев вернулась в Россию. Их поселили на Куме.

В регионах компактного проживания ногаев в конце 19 века были и калмыки, оторванные от основной их массы на территории западного Прикаспия. «Согласно переписи 1897 г., в Ставропольской губернии проживало 1323 калмыков в двух уездах: Ставропольском и Новогеоргиевском, а на территории области Кубанского войска значилось 378 калмыков в Ейском, Лабинском и Кавказском отделах. Все эти группы были слишком малочисленны, чтобы противостоят ассимиляционным процессам» (Очиров, 2004, стр. 70). Порядка 4 тыс. калмыков проживала на Тереке. Часть их могла быть ассимилирована ногайцами и другими популяциями.

Сегодня прямыми потомками ногаев 16-17 веков являются караногайцы Дагестана, кубанские ногайцы (ногайцы Ногайского и Абазинского районов Карачаево-Черкессии), субэтнос крымских татар – ногай (жители Степного Крыма) и румынские татары. Все этносы, кроме кубанских ногайцев, являются потомками разных ногайских родов. А предками последних – джетисанцы и джембуйлуки Большой Ногайской орды (Кипкеева, 2006, стр. 7). Отметим, что джембуйлуки когда-то

кочевали в районе Эмбы (Торопицын, 2011, стр. 331) (джем+буй+лук – живущие в окрестностях Ем/Джем, то есть Эмбы).

5. Генетические портреты популяций

Ранее нами по современным популяциям монголов сформированы генетические маркеры-индикаторы события «Монгольские завоевания 13 века» (Тюрин, 2010). Это гаплогруппы Y-хромосомы (передаются по мужской линии) C (ее частоты у монголов порядка 60 %), а также O и D (встречаются у монголов с небольшими частотами, но нехарактерны для популяций Восточной Европы). Эти же гаплогруппы выделили авторы публикации (Балаганская и др., 2016, стр. 211): «Наличие в генофонде народов гаплогрупп C, D и O рассматривается как свидетельство об экспансии монгольских племен».

В соответствии с феноменом «Монгольские завоевания 13 века», считается, что халхи, являющиеся сегодня самой большой субэтнической группой монголов, жили на территории современной Монголии в 8-13 веках. То есть, генетические данные по ним характеризуют монголов-завоевателей 13 века. У халхов (85 образцов): C – 56,6 %, O – 18,8 %, D – 3,5 % (Katoh & Munkhbat, 2005, стр. 66). Небольшие этнические группы урянхайцы (Uriankhai) и зачины (Zakcniin) живут на западе Монголии. Их предками были ойраты. У урянхайцев (60 образцов): C – 58,3 %, O – 11,7 %, D – 1,7 %. У зачинов (60 образцов): C – 46,7 %, O – 11,7 %, D – 3,3 %.

У калмыков: C – 61,6 % (99 образцов) (Nasidze & Quinque, 2005, стр. 850). По другой выборке (68 образцов): C – 70,6 % (Derenko & Malyarchuk, 2006, стр. 595). По двум выборкам частота гаплогруппы C у них составляет 65,3 %. По частотам гаплогрупп Y-хромосомы калмыки попадают в один кластер с монголами и казахами.

Частоты гаплогруппы R1a1a-M198 у каранагайцев (153 образца) – 21 %, но «славянская» линия практически отсутствует – 2 % (Схаляхо & Чухряева, 2016, стр. 327). Частоты монгольской гаплогруппы C – 8 %. Отмечается нехарактерные для популяций региона высокие частоты гаплогруппы N1-LLY22 – 21 %. Эта аномалия по мнению авторов публикации может быть связана либо с башкиро-ногайской миграцией в середине 16 века, либо с ранними булгарами 7 века. Отметим, что у каранагайцев выявлена и гаплогруппа Q – 2 %. Это «роднит» их с сибирскими татарами. У них относительно высокие частоты гаплогрупп N1 и Q. На основании этого можно сформулировать еще одну гипотезу. Несколько родов ногаев, включенных в этногенез каранагайцев, в прошлом кочевали вблизи региона проживания сибирских татар (их генетические портреты приведены в публикации (Агджоян & Балановская, 2016, стр. 981). Они получили там гаплогруппы, доминирующие у хантов и манси. У последних по частотам доминирует гаплогруппа N1 и заметные частоты Q (Волков, 2013, стр. 80). В другой

выборке караногайцев (77 образцов) частоты гаплогруппы С составляют 10 % (Юнусбаев, 2006, стр. 14). По двум выборкам частота гаплогруппы С у караногайцев – 8,7 %.

У кубанских ногойцев (90 образцов) по частотам доминирует гаплогруппа R1a1a-M198 – 48 % (Схалыхо & Чухряева, 2016, стр. 327). Частоты ее «славянской» субветви R1a1a1g-M458 – 13 %. Частоты монгольских гаплогрупп – 4 %, в том числе: С – 3 % и О – 1 %. По другой выборке (Литвинов, 2010, стр. 11) у кубанских ногойцев (87 образцов) частота монгольских гаплогрупп – 12,8 %, в том числе: С – 8,1 %, О – 3,5 %, D – 1,2 %. По двум выборкам частота монгольских гаплогрупп у ногойцев составляет 8,5 %, в том числе гаплогруппа С – 5,6 %. Среди крымских татар (22 образцов) присутствует весь монгольский набор гаплогрупп: С – 2, О – 2, D – 1 (Marchani et al., 2008, Table 2). Всего 22,7 %. Но эта выборка небольшая. У крымских татар выделяется три субэтнуса: ногой (Степной Крым), жители гор и жители Южного берега (Муратов, 2016, стр. 30). Можно ожидать дифференцированное распределение монгольских гаплогрупп по субэтнсам. По татарам имеется новый массив данных (306 образцов с разбивкой по субэтнсам). Но они пока не опубликованы (Балановская & Агджоян, 2016). По диаграмме, приведенной в отмеченной публикации (стр. 79), у крымских татар около 5,0 % носителей гаплогруппы С. Данные по общей выборке гаплогруппы крымских татар (229 образцов) привел автор публикации (Муратов, 2016). По диаграмме (стр. 32) носителей гаплогруппы С у татар примерно 2,0 %. Будем считать, что у крымских татар 2,0-5,0 % носителей гаплогруппы С.

По генетическому портрету караногайцы, кубанские ногойцы и крымские татары являются европеоидами с небольшой примесью центрально-азиатского (монгольского) компонента. Не вызывает сомнений, что монгольские гаплогруппы попали к ним от калмыков. По частотам гаплогруппы С можно оценить вклад калмыков в генезис трех популяций: караногайцы – 13,3 %, кубанские ногойцы – 8,6 %, крымские татары – 3,1-7,7 %. Но это оценки максимум, поскольку у современных калмыков тоже имеется ногойский компонент. У их предков, пришедших в Прикаспий, частоты гаплогруппы С были выше.

6. Генетические следы калмыков

Поиск генетических следов калмыков в других популяциях, с которыми они контактировали прямо или через ногоев. Это народы Северного Кавказа, турки, румынские татары, казанские татары, башкиры, украинцы и русские. Соответствующей информации по румынским татарам у нас не имеется. Данные по остальным популяциям рассмотрены ниже.

В публикации (Литвинов, 2010, стр. 11) приведены гаплогруппы Y-хромосомы народов западной части Северного Кавказа: абазинов (88

образцов), адыгейцев (154), черкесов (126), карачаевцев (69), северных осетин (132) и южных осетин (24). Единичные носители гаплогруппы С имеются у адыгейцев (1 образец) и южных осетин (1 образец). У черкесов их заметные частоты (4 образца, 3,2 %). Так и должно быть. Кубанские ногойцы проживают в Карачаево-Черкессии. Да и сами черкесы контактировали с калмыками. В другой выборке осетин (146 образцов, в том числе 17 из Южной Осетии) (Nasidze & Quinque, 2004, Table 3) монгольские гаплогруппы не выявлены.

Автор публикации (Юнусбаев, 2006, стр. 14) привел результаты тестирования представителей 9 коренных народов Дагестана: аварцев (42 образца), чамалинцев (27), багуалинцев (28), андийцев (49), лезгинов (31), даргинцев (68), табасаранцев (43) и кумыков (76). Гаплогруппа С имеется только у табасаранцев (3 образца, 7,0%). Не понятно такое ее избирательное распространение. Скорее всего, это связано с каким-то разовым событием, например, покупкой табасаранцами пленных калмыков с их последующим включением в свой этнос.

В Турцию осуществлялась массовая миграция ногоаев и крымских татар. В публикации (Cinnioglu & King, 2004, стр. 130) приведены результаты тестирования турок (523 образцов из 9 регионов Турции). Всего выявлено 7 носителей гаплогруппы С и 1 – О. Причем, 4 (4,9 %) носителя гаплогруппы С живут в Стамбуле (выборка 81 образец). Относительно высокие частоты носителей монгольских гаплогрупп в Турции (1,5 %) невозможно объяснить только миграцией туда ногоаев и крымских татар. Скорее всего, существовал и поток калмыков (ясырь) с Северного Кавказа и Крыма.

Существовала миграция ногоаев на Среднюю Волгу. Их потомки сегодня являются татарами, у которых должны быть монгольские гаплогруппы. Возможно попадание этих гаплогрупп и в другие популяции региона. У них (марийцы, мордва, коми, удмурты, чуваш и татары, всего 580 образцов) выявлено 3 (0,5 %) носителя гаплогруппы С (Tambets & Rootsi, 2004, Table 3), в том числе 2 (1,6 %) у татар (126 образцов) и 1 (1,3 %) у чувашей (79 образцов). В другой выборке (Трофимова & Литвинов, 2015, стр. 123) (коми, бесермяне, удмурты, мордва, чуваш, бурзянские башкиры, казанские и туймазинские татары, всего 410 образцов) монгольские гаплогруппы выявлены у казанских татар (53 образца): С – 5,7 %, О – 1,9 %, туймазинских татар (50 образцов): С – 2,0 % и мордвы (59 образцов): С – 1,7 %. Еще в одной выборке представлены два субэтнуса (Ахатова, 2014). Монгольские гаплогруппы у казанских татар (120 образцов): С – 3,9 %, О – 2,0 %, у татар-мишарей (130): С – 2,9 %, О – 1,5 % (стр. 49).

Результаты новых исследований (Балановская & Агджоян, 2016) пока опубликованы частично. Среди поволжских татар выявлено около 5

% носителей гаплогрупп C3-M217, O3-M122 и Q-M242 (стр. 79). Однако, в выборку (310 образцов), кроме собственно казанских татар, включены мишари и кряшены. Авторы публикации (Агджоян & Схаляхо, 2015) отметили своеобразие генетического портрета последних – высокие частоты гаплогрупп C3-M217 и G2a-P15 (суммарно 20 %) (стр. 36). Имеется несколько гипотез происхождения кряшен. Мы сформулируем еще одну. Их часть – это крещенные ногаи. У караногайцев частоты гаплогрупп C3-M217 и G2a-P15 суммарно составляют 11 %, у кубанских ногайцев – 15 % (Схаляхо & Чухряева, 2016, стр. 327).

Монгольские гаплогруппы могли попасть к кряшенам и от крещеных калмыков. Например, предки нагайбаков (кряшены) получили статус казаков в 1736 г., проживали в крепости Нагайбакская (Уфимская губерния) (Викторин, 2008, стр. 4). В 1842 г. их переселили в Новолинейный район (Зауралье) Оренбургского казачьего войска. «они были расселены в основном среди русских и крещеных калмыков» (Атнагулов, 1998, стр. 55). «В поселке Парижском нагайбаки проживали совместно с калмыками и русскими: 744 души – нагайбаки, 74 души – калмыки и 141 душа – русские» (Рыбалко, 1995, стр. 124). Эти вопросы можно будет проработать после публикации гаплогрупп поволжских татар с разбивкой по субэтносам.

Калмыки участвовали в Русско-Польской войне 1654-1667 гг. Их крупные конные армии находились на Левобережной Украине. Ногаи Крымского ханства контактировали с украинцами. После Азовских проходов Петра I (1695 и 1696 гг.), часть участвовавших в нем калмыков поселили в Чугуеве с определением их на казацкую службу. Прибывали туда калмыки и позднее. К 1788 г. из них было сформировано 8 сотен корпуса передовой стражи Екатеринославского пехотного полка (Гумилевский, 1857). Всего 1014 человек. Позднее калмыков перевели на Дон в казацкое сословие. «Оставшиеся в Чугуеве калмыки мало по малу роднились «с сведенцами» из разных городов русского царства, а чрез то сливались с русским племенем, теряя калмыцкий тип свой».

У современных украинцев может быть монгольский след. Но по результатам анализа опубликованных данных по гаплогруппам Y-хромосомы украинцев авторы публикации (Утевская, & Агджоян, 2013) сделали категорическое заключение: «не сообщалось о наличии гаплогрупп L-M20, O-M175 и C-M130 ..., которые характерны для монголоидных народов евразийских степей» (стр. 95). Авторы публикации (Balanovsky & Rootsi, 2008, Table 2) привели данные по генетическому портрету русских (484 образца). Выявлено 2 носителя гаплогруппы C. Один с Белгородчины (143 образца). Не потомок ли он чугуевских крещеных калмыков?

У русских порядка 0,3 % носителей гаплогруппы С (Тюрин, 2010). К ним было несколько потоков монгольских гаплогрупп (от калмыков). Один из них – при контакте калмыков с русскими на Северном Кавказе и Доне, где терские и кубанские казаки, а также русские и украинские переселенцы непосредственно контактировали с калмыками и ногаями. Первые крещенные калмыки были зачислены в донские казаки в 1686 г. (Оконова, 2011, стр. 65). Их общая численность в конце 19 века достигала 30 тысяч (Очиров, 2004, стр. 69). «Эффективность» этого потока характеризуют данные по кубанским (95 образцов), донским (323), запорожским (86) и терским (125) казакам (Utevskaya & Chukhryaeva, 2015). Частоты гаплогрупп в публикации не приведены. Но, как мы поняли, носители гаплогруппы С среди казаков не выявлены. Однако, казаки – это относительно «закрытое» сословие. Монгольские гаплогруппы должны быть у русских, не являющихся потомками казаков.

Русские непосредственно контактировали с калмыками и на просторах от Волги до Южного Урала включительно. К Яицкому казачьему войску первые калмыки приписаны в 1725 г. В 1887 г. их насчитывалось 1250 человек (Оконова, 2011, стр. 70). В 1738 г. начало формироваться Ставропольское калмыцкое войско с центом в Ставрополе-на-Волге. В 1744 г. там было 3330 крещеных калмыков обоего пола. После его упразднения (1842 г.) калмыки (3324 человека) были переведены в Новолинейный район. Там их расселили «вразброс, по несколько десятков семей в каждом отряде». (Кобзов, 1992, стр. 20). В Оренбургском казачьем войске на службе состояло около 600 калмыков. Часть из них тоже перевели в Новолинейный район. В 20-х годах 20 века калмыки этого района переселились на территорию Калмыкии.

Выше отмечено, что ногаи-кундровцы были отправлены (через Казанскую губернию) в Оренбургскую губернию. Здесь за ними закрепился этноним «кондровцы». Их зачислили в Оренбургское казачье войско и поселили в Кондровской слободе. Они оставались мусульманами. В 1745 г. из Казанской губернии в Оренбургскую было переведено еще 504 ногай (Аминов, 2016, стр. 10). Часть из них в 1747 г. (138 человек) «переметнулась» к хану Младшего жуза Нурали Абулхаиру. В 1768 г. из Казанской губернии в Оренбургье переведено еще 200 семей (1044 чел.) кундровских ногаев. Их поселили на Сакмарской дистанции Оренбургской пограничной линии: в Воздвиженской крепости, в Никитинском и Желтом редутах. В отмеченных выше четырех поселениях в 1795 г. было 1836 кондровцев обоего пола, в 1816 г. – 2055, в 1865 г. – 2660 (стр. 12). В 18 веке они в своих поселениях составляли абсолютное большинство. Но в 1916 г. в Кондровке кондровцев-мусульман было меньше одной трети. Остальные жители были православными. В Желтом их соотношение было примерно равным (стр. 13). Часть кондровцев была

переселена в Новолинейный район (Викторин, 2008, стр. 6). Там они основали поселок Новокондуровский.

Восточнее Оренбургской губернии на юге Западной Сибири русские контактировали с калмыками с самого начала 17 века и до периода, когда их потомки стали казахами. Здесь мы приведем только один пример. В 1698 г. в Тюмени проводился смотр служилых детей боярских. У каждого из них было в подчинении по воину (Пузанов, 2016, стр. 111). У одного – калмык. Судя по его имени и фамилии – крещеный. В этом регионе русские получали гаплогруппу С и от казахов. Они включались (после принятия православия) в состав Сибирского казачьего войска (Казиев, 2014, стр. 34).

Был и «рассеянный» поток калмыков в русские регионы. С конца 17 века «представители, калмыцкой знати, решившие креститься, как правило, наделялись княжеским титулом» (Тепкеев, 2012, стр. 22). Калмыки разными путями оказывались в Москве. Они «через крещение входили в свободные группы русского населения, в общерусскую правовую среду» (стр. 24). Данных об их общей численности не имеется.

Кроме калмыков, монгольские гаплогруппы могли попасть к русским от ногайцев, крымских татар, казахов и монголов. Представляется, что низкая частота гаплогруппы С у русских соответствует невысокой интенсивности их контактов в прошлом с этими популяциями.

В регионе от Волги до Южного Урала включительно калмыки контактировали не только с русскими, но и с башкирами. Последние охарактеризованы выборкой, охватывающей 8 регионов их проживания (всего 471 образец) (Лобов, 2009, стр. 15). Среди башкир выявлено 2,3 % носителей гаплогруппы С и 0,8 % – гаплогруппы О. Но все они локализованы в зонах контактов башкир с калмыками и казахами. Носители гаплогруппы С живут на западе Оренбургской области (43 образца) – 16,3 %, и в сопредельном с ней Стерлибашевском районе Башкортостана (52 образца) – 5,8 %. Носители гаплогруппы О – на востоке Оренбургской области (34 образца) – 5,9 %, а также в Саратовской и Самарской областях (50 образца) – 4,0 %. Еще 1 носитель гаплогруппы С выявлен в Абзелиловском районе (80 образцов) сопредельном с Челябинской областью. Но до конца 30-х годов 19 века граница Российской империи здесь проходила по реке Урал.

Выборка по башкирам востока оренбургской области небольшая. Тем не менее, в ней выявлено два носителя гаплогруппы О и ни одного С. Но именно здесь происходил плотный этнический контакт башкир и казахов. Почему к башкирам не попала гаплогруппа С, доминирующая по частотам у казахов? Рассмотрим эту «аномалию» подробнее. В 18 веке «Двенадцать отделений рода жагалбайлы племени жетыру в количестве 7

000 семей кочевали летом по реке Кумек (Кумак, *авт.*), в горах Карашатау и по реке Тобол, а зимовали – от Верхнеозерной крепости вверх по реке Урал до Верхнеуральска» (Муканов, 1991, стр. 16). Жетыру – одно из трех племенных объединений Младшего жуза. И сегодня на юго-востоке Челябинской области проживают казахи рода жагалбайлы (Атнагулов, 2017, стр. 262). Генетический портрет жагалбайлы приведен в публикации (Сабитов & Жабагин, 2015, стр. 378). Всего 13 образцов. По частотам доминирует гаплогруппа О – 6 образцов. Она доминирует у китайцев, ее значимые частоты имеются у монголов и казахского рода найман. По два образца – G1 (эта гаплогруппа доминирует у казахского рода аргын) и R1b (доминирует у башкир Абзелиловского района). И всего один образец – гаплогруппа С. То есть, даже небольшие выборки проясняют тонкости этнического взаимодействия казахов и башкир. К башкирам востока Оренбургской области попала гаплогруппа О, доминирующая по частотам у казахского рода жагалбайлы, а в этот род от башкир Абзелиловского района попала гаплогруппа R1b. Название казахского объединения родов ДЖЕТЫРУ переводится как «семь родов» (ДЖЕТЫ – «семь», РУ – род). Не «дубль» ли это объединения родов ногаев – ДЖЕТИСАНцы (САН – ?)?

Гаплогруппы калмыков в выборке из публикации (Nasidze & Quinque, 2005, стр. 850) определены с невысоким разрешением, а авторы публикации (Derenko & Malyarchuk, 2006, стр. 595) выделяли только гаплогруппу С. По этим данным мы ничего не можем сказать о наличии у калмыков гаплогрупп популяций, среди которых они живут с середины 17 века. Но по интересующему нас вопросу имеются другие данные. По результатам изучения полиморфизма ДНК (эти генетические маркеры передаются и по мужской, и по женской линиям) субпопуляции калмыков отличаются по этноантропологическому вкладу (Балинова, 2010). У дербетов восточноазиатский (монголоидный) компонент составляет 96,5 %, у торгоутов – 75,0 %, у бузавов – 48,3 %. Центральнo- и Восточно-европеоидный компонент у этих популяций 2,5 %, 16,7 % и 41,7 %, переднеазиатский европеоидный – 1,0, 6,3 и 10,0 % (стр. 199-200). Бузавы – это донские калмыки-казаки. Высокий европеоидный компонент у субпопуляции можно объяснить тем, что их предками, возможно, были смешанные группы калмыков и ногаев. В таком составе было легче адаптироваться к новым условиям. Торгоуты составили первую волну переселенцев в западную часть Прикаспия и включали в свои улусы рода ногаев. Поэтому у них доля европеоидного компонента выше, чем у дербетов. Европеоидная примесь у калмыков отмечается и по данным антропологии.

7. Заключение

Рассмотрев историю взаимодействия калмыков с ногаями Большой Ногайской орды, Малой Ногайской орды и Крымского ханства, а также

многочисленные переселения ногаев можно сделать вывод о значимом генетическом влиянии этих популяций друг на друга. Именно этим объясняется наличие монгольских гаплогрупп Y-хромосомы С, О и D у потомков ногаев – караногайцев (8,7 %), кубанских ногайцев (8,5 %) и крымских татар (примерно 2,0-5,0 %), а также высокие значения европеоидного компонента (полиморфизм ДНК) у субпопуляций современных калмыков – торгоутов и бузавов (23 % и 51,7 %). Выявлено генетическое влияние калмыков на другие популяции, с которыми они контактировали прямо или через ногаев. Значимые частоты монгольских гаплогрупп (1,5-7,0 %) имеются у черкесов, табасаранцев, казанских татар, турок и башкир. У других популяций Северного Кавказа и Восточной Европы монгольских гаплогрупп либо не выявлено, либо отмечены их единичные носители. Черкесы прямо контактировали с калмыками и кубанскими ногайцами. В Турцию было несколько переселений ногаев и крымских татар. Возможно, существовал и поток калмыков (ясырь). Пока не понятно, как монгольские гаплогруппы попали к табасаранцам. Не ясен характер их распределения в субпопуляциях поволжских татар. Единичные носители монгольских гаплогрупп у русских соответствуют невысокой интенсивности их контактов в прошлом с калмыками, а также с другими популяциями, у которых имеются монгольские гаплогруппы – ногайцами, крымскими татарами, казахами и монголами. У украинцев монгольские гаплогруппы не выявлены.

Список литературы

Balanovsky, O. & Rootsi, S. (2008). Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context. *Am. J. Hum. Genet.*, № 82(1), pp. 236-250. DOI: 10.1016/j.ajhg.2007.09.019

Cinnioglu, C. & King, R. (2004). Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia. *Human Genetics*, 114(2):127-48. DOI: 10.1007/s00439-003-1031-4

Derenko, M. & Malyarchuk, B. (2006). Contrasting patterns of Y-chromosome variation in South Siberian populations from Baikal and Altai-Sayan. *Human Genetics*, Vol. 118, № 5, pp. 591-604. DOI 10.1007/s00439-005-0076-y

Katoh, T. & Munkhbat, B. (2005). Genetic features of Mongolian ethnic groups revealed by Y-chromosomal analysis. *Gene*, Vol. 346, pp. 63-70.

Marchani, E.E. & Watkins, W.S. (2008). Culture creates genetic structure in the Caucasus: Autosomal, mitochondrial, and Y-chromosomal variation in Daghestan. *BMC Genet*, 9: 47, pp. 1-13. DOI: 10.1186/1471-2156-9-47

Nasidze, I. & Quinque, D. (2004). Genetic evidence concerning the origins of South and North Ossetians. *Annals of Human Genetics*, Vol. 68, Issue 6, pp. 588-599. DOI: 10.1046/j.1529-8817.2004.00131.x

Nasidze I. & Quinque D. (2005). Genetic evidence for the Mongolian ancestry of Kalmyks. *Am J Phys Anthropol*, 128(4), pp. 846-854.

Tambets K. & Rootsi S. (2004). The Western and Eastern roots of the Saami – the story of genetic «Outliers» told by mitochondrial DNA and Y-Chromosomes. *Am J Hum Genet*, 74(4), pp. 661-682. DOI: 10.1086/383203

Агджоян, А. Т. & Схаляхо, Р. А. (2015). От Сибири до Крыма: особенности генофонда татар Евразии (крымских, сибирских, казанских, кряшен, мишарей). *Международная полевая школа в Болгаре*, с. 33-38.

Агджоян, А. Т. & Балановская, Е. В. (2016). Генофонд сибирских татар: пять субэтносов – пять путей этногенеза. *Молекулярная биология*, т. 50, № 6, с. 978-991.

Аминов, Р. Р. (2016). Формирование и численность ногайцев Оренбургского казачьего войска. *Бусыгинские чтения, Выпуск девятый. Народы в поликультурном взаимодействии*, с.10-14.

Атнагулов, И. Р. (1998). К вопросу об этнической специфике нагайбаков. *Гуманитарные науки в Сибири*, № 3, с. 53-58.

Атнагулов, И. Р. (2017). Казахи Челябинской области: краткая этнокультурная характеристика (к проблеме этнической самоидентификации в полиэтничном окружении). *Проблемы истории, филологии, культуры*, № 1, с. 260-268.

Ахатова, Ф. С. (2014). Популяционно-генетическое исследование татар по локусам Y-хромосомы и алу-инсерций. Магистерская диссертация, Казань, 69 с.

Балаганская, О. А. & Дамба, Л. Д. (2016). Монгольский след в генофонде народов вдоль степной полосы Евразии. *Современные проблемы науки и образования*, № 4, с. 211.

Балановская, Е. В. & Агджоян, А. Т. (2016). Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар. *Вестник Московского университета, Серия 23: Антропология*, № 3, с. 75-85.

Балинова, Н. В. (2010). Полиморфизм ДНК и его использование для изучения истории и происхождения тюрко-монгольских народов. *Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов*, № 2, с. 187-207.

Бегеулов, Р. М. (2014). Калмыцкий поход на Северный Кавказ в 1643-1644 гг. *Народы Кавказа: история, этнология, культура*, с. 210-217.

Бобров, Л. А. & Рюмшин, М. А. (2015). «...и против них не стаивали они нигде и биться с ними не умеют». Оружейный и военно-тактический

аспект калмыцко-ногайских и калмыцко-татарских войн первой половины – середины XVII в. *Золотоордынская цивилизация*, № 8, с. 357-378.

Викторин, В. М. (2008). Казаки-нагайбаки и служилые ногайские татары в Оренбургском войске на границах казахских степей: XVIII – нач. XX вв., их потомки и родственные группы Поволжья (этномиграции, связанные по разным маршрутам), *Вопросы истории и археологии Западного Казахстана*, № 2, с. 3-17.

Волков, В. Г. (2013). Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных. *Томский журнал лингвистических и антропологических исследований*, № 1 (1), с. 79-96.

Гумилевский, Д. Г. (Филарет) (1857). *Историко-статистическое описание Харьковской епархии*. Отд. IV (Чугуевские округа военного поселения; уезды – Змиевской и Волчанский) – в Харькове. http://dalizovut.narod.ru/filaret/filar_s.htm

Казиев, С. Ш. (2014). Повседневность межэтнических отношений: казаки, крестьяне и казахские кочевники Западной Сибири и Казахстана в начале XX века. *История повседневности Западной Сибири: конец XIX-начало XXI вв.*, с. 29-54.

Кипкеева, З. Б. (2006). Конец Ногайской орды: миграции и расселение на Северном Кавказе. *Новый исторический вестник*, № 15, с. 5-15.

Кобзов, В. С. (1992). Новая линия. *Вестник Челябинского университета*. Серия I: История, 1992, №1, с. 12-26.

Литвинов, С. С. (2010). Изучение генетической структуры народов Западного Кавказа по данным о полиморфизме Y-хромосомы, митохондриальной ДНК и alu-инсерций. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Уфа, 23 с.

Лобов, А. С. (2009). Структура генофонда субпопуляций башкир. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Уфа, 23 с.

Матюшко, И.В. (2011). Особенности погребального обряда кочевников степного Приуралья XIII-XIV вв. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, Т. 13, № 3-1, с. 280-283.

Муканов, М. С. (1991). *Этническая территория казахов в XVIII – начале XX веков*. Алма-Ата: Казахстан, 64 с.

Муратов, Б. А. (2016). ДНК-генеалогия татарских фамилий – 2. Крымские татары. *БЭИП «Суюн»*, Т. 3, № 1 [1, 2], с. 28-79.

Оконова, Л. В. (2011). К вопросу об ареале расселения калмыков за пределами их основных кочевий в XVII–XIX вв. *Монголоведение*, № 5, с. 65-79.

Очиров, У. Б. (2004). К вопросу о численности калмыцких этнических групп на Дону и Северном Кавказе в кон. XVII – нач. XX вв. *Юг России: культурно-исторический феномен*, с. 67-70.

Очиров, У. Б. (2009). Керяты в составе торгутских улусов калмыцкого ханства. *Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов*, № 1, с. 114-123.

Потто, А. В. (1899). *Кавказская война. (Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях)*, (в 5-ти томах) [В Сети].

Пузанов, В. Д. (2016). Политика Русского государства по снабжению уездов Сибири оружием в XVII в. *Исторический формат*, № 4, с. 106-123.

Рыбалко, А. А. (1995). История и быт казаков Новолинейного района (Этнографический очерк). Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. Науч. ред. Г.Б. Зданович; Сост. Н.О. Иванова. – Челябинск: «Каменный пояс», с. 116-133.

Сабитов, Ж. М. & Жабагин, М. К. (2015). Этногенез казахов с точки зрения популяционной генетики. Вопросы конституционного строительства и роль лидера нации. III конгресс историков Казахстана. Астана. с. 375-379.

Схаляхо, Р. А. & Чухряева, М. И. (2016). Генофонды ногайцев в контексте населения степного пояса Евразии (по маркерам Y-хромосомы). *Золотоордынская цивилизация*, № 9, с. 326-333.

Тепкеев, В. Т. (2012). О появлении первых крещеных калмыков в Москве в середине XVII в. *Новый исторический вестник*, № 33 (33), с. 18-25.

Торопицын, И. В. (2011). Россия и ногайцы: поиск путей самоопределения и сосуществования (первая половина XVIII в.). *Тюркологический сборник 2009-2010: Тюркские народы Евразии в древности и средневековье*, с. 330–359.

Торопицын, И. В., (2012). Эрс Магомет мулла – агент российского влияния в среде ногайцев (к вопросу о поселении салтанаульцев в Астраханской губернии в 1740-х гг.). *Актуальные вопросы истории и культуры ногайцев*, Вып. 1, с. 106-112.

Торопицын, И. В. (2014). Кундровцы (ногаи) в Нижнем Поволжье. *Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему*, с. 95-99.

Трепавлов, В. В. (2016). *История Ногайской Орды*. 2-е изд., испр. и доп. – Казань: Издательский дом «Казанская недвижимость», 764 с.

Трофимова, Н. В. & Литвинов, С. С. (2015). Генетическая характеристика популяций Волго-Уральского региона по данным об изменчивости Y-хромосомы. *Генетика*, Т. 51, № 1, с. 120-127.

Тюрин, А. М. (2010). Имеются ли генетические следы монгольских завоеваний 13 века? *Электронный сборник статей «Новая Хронология»*, Выпуск 10. http://new.chronologia.org/volume10/turin_mongoly.php

Тюрин, А. М. (2017). Генетический портрет литовских татар и феномен «Монгольские завоевания 13 века». *Вестник Оренбургского государственного университета*, № 5, с. 78-82.

Устюгов, Н. В. & Златкин, И. Я. (Ред.), (1967). *Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период*. «Наука», Москва, 497 с. [В Сети]

Утевская, О. М., & Агджоян, А. Т. (2013). Истоки формирования украинского генофонда по данным об Y-хромосоме. *Вісник Харківського університету*, Вип. 18 (№ 1079), с. 87-98.

Утевская, О. М., & Чухряева, М. И. (2015). Происхождение основных групп казачества по данным о полиморфизме Y-хромосомы. *Вісник Одеського національного університету. Біологія*, Т. 20, № 2 (37), с. 61-69.

Юнусбаев, Б. Б. (2006). Популяционно-генетическое исследование народов Дагестана по данным о полиморфизме Y-хромосомы и alu-инсерций. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Уфа, 24 с.

Янковски Х. (2000). Крымские татары и ногайцы в Турции. *Rocznik Tatarski*, 2000, Т. 6, с. 118-126. [Перевод статьи на русский язык в Сети]. <https://turkology.tk/library/200>

KALMYKS, KARA-NOGAIS, KUBAN NOGAIS AND CRIMEAN TATARS – GENOGEOGRAPHY AND GENOGENEALOGY ASPECTS

Tyurin A.M.

Tyurin A.M., head of the laboratory of Geophysics, Department of Geology and Geophysics
ООО «VolgoUraNIPIgaz», 460000, Orenburg, Kirova, 52A, 29, E-mail:
tiurin2007@rambler.ru

It's examined the interaction between Kalmyks and pristine Nogais who were a part of Great Nogai Horde, Small Nogai Horde and Crimean khanate in the 17th century, as well as numerous resettlements of the latter. There given the frequency of Y-chromosome haplogroups of Mongols, Kalmyks and pristine Nogais descendants: Kara-Nogais, Kuban-Nogais and Crimean Tatars. The conclusion is taken into account (Tyurin, 2017): genetic Mongols hadn't come to Eastern Europe and adjacent regions of Asia before completion of the separation of Lithuanian Tatars (early 16th century). Proceeding from this, Mongolian haplogroups C, O and D (a total of 2.0-5.0 % among Crimean Tatars to 8.7 % among Kara-Nogais), observed among the descendants of pristine Nogais, could get to them only from the Kalmyks. The genetic influence of Kalmyks on other populations with which they contacted

directly or through pristine Nogais was revealed. Significant frequencies of Mongol haplogroups (of 1.5-7.0 %) are among Circassians, Tabasarans, Volga Tatars, Turks and Bashkirs. In other populations of the North Caucasus and Eastern Europe, these haplogroups are either not identified, or their individual carriers are marked. Circassians contacted directly with the Kalmyks, pristine Nogais and their descendants, Kuban Nogays. In Turkey there were several migrations of pristine Nogais and Crimean Tatars. Perhaps there was a flow of Kalmyks (yasyr). Among Bashkir the bearers of Mongolian haplogroups were identified only on the periphery of their region of settlement in the areas of their contact with Kalmyks and Kazakhs. It is not clear how the Mongolian haplogroups came to Tabasarans. The nature of their distribution in the subpopulations of the Volga Tatars is not clear.

Keywords: genogeography, genogenealogy, Great Nogai Horde, Small Nogai Horde, Crimean khanate, Kalmyks, Kara-Nogais, Kuban Nogais, Crimean Tatars.

References:

Balanovsky, O. & Rootsi, S. (2008). Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context. *Am. J. Hum. Genet*, № 82(1), pp. 236-250. DOI: 10.1016/j.ajhg.2007.09.019

Cinnioglu, C. & King, R. (2004). Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia. *Human Genetics*, 114(2):127-48. DOI: 10.1007/s00439-003-1031-4

Derenko, M. & Malyarchuk, B. (2006). Contrasting patterns of Y-chromosome variation in South Siberian populations from Baikal and Altai-Sayan. *Human Genetics*, Vol. 118, № 5, pp. 591-604. DOI 10.1007/s00439-005-0076-y

Katoh, T. & Munkhbat, B. (2005). Genetic features of Mongolian ethnic groups revealed by Y-chromosomal analysis. *Gene*, Vol. 346, pp. 63-70.

Marchani, E.E. & Watkins, W.S. (2008). Culture creates genetic structure in the Caucasus: Autosomal, mitochondrial, and Y-chromosomal variation in Daghestan. *BMC Genet*, 9: 47, pp. 1-13. DOI: 10.1186/1471-2156-9-47

Nasidze, I. & Quinque, D. (2004). Genetic evidence concerning the origins of South and North Ossetians. *Annals of Human Genetics*, Vol. 68, Issue 6, pp. 588-599. DOI: 10.1046/j.1529-8817.2004.00131.x

Nasidze I. & Quinque D. (2005). Genetic evidence for the Mongolian ancestry of Kalmyks. *Am J Phys Anthropol*, 128(4), pp. 846-854.

Tambets K. & Rootsi S. (2004). The Western and Eastern roots of the Saami – the story of genetic «Outliers» told by mitochondrial DNA and Y-Chromosomes. *Am J Hum Genet*, 74(4), pp. 661-682. DOI: 10.1086/383203

Agdzhoyan, A. T. & Skhalyakho, P. A. (2015). From Siberia to Crimea: peculiarities of genepool of the tatar populations across Eurasia (Crimean,

Siberian, Kazan, Mishar and Baptized Tatars). *International field school in Bolgar*, pp. 33-38.

Agdzhoyan, A. T. & Balanovska, E. V. (2016). The gene pool of Siberian Tatars: Five ways of origin for the five subethnic groups. *Molecular biology*, Bul. 50, № 6, pp. 978-991.

Aminov, R. R. (2016) Formation and the number of Nogais of the Orenburg Cossack troops. *Bosaginskiy readings*, Issue Ninth. *Peoples in a multicultural interaction*, pp. 10-14.

Atnagulov, I. R. (1998). The question about ethnic specificity of Nagaibak. *The Humanities in Siberia*, № 3, pp. 53-58.

Atnagulov, I. R. (2017). Kazakhs of Chelyabinsk region: a brief ethno-cultural characteristic (to the problem of ethnic identity in the multiethnic environment). *Problems of History, Philology, Culture*, № 1, pp. 260-268.

Akhatova, F. C. (2014). Population and genetic study of the Tatars at the loci Y-chromosome and alu-insertions. Master thesis, Kazan, 69 p.

Balaganskaya, O. A. & Damba, L. (2016). Mongolian trace in gene pool of populations along the steppe of Eurasia. *Modern problems of science and education*, № 4, p. 211.

Balanovska, E. V. & Agdzhoyan, A. T. (2016). The Tatars of Eurasia: peculiarity of Crimean, Volga and Siberian Tatar gene pools. *Bulletin of Moscow state University, Series 23: Anthropology*, № 3, pp. 75-85.

Balinova, N. V. (2010). DNA polymorphism and its use for the study of the history and origin of the Turkic-Mongolian peoples. *Problems of ethnic history and culture of Turkic-Mongolian peoples*. № 2, pp. 187-207.

Begeulov, R. M. (2014). Kalmyk expedition to the North Caucasus in 1643-1644. *The peoples of the Caucasus: history, Ethnology, culture*, pp. 210-217.

Bobrov, L. A. & Ryumshin, M. A. (2015). «... and against them, they could not withstand anywhere and they are not able to fight against them». Arms and military tactical aspect of the Kalmyk-Nogai and Kalmyk-Tatar wars during the first half – middle of the 17th century. *The Golden Horde civilization*, № 8, pp. 357-378.

Viktorin, V. M. (2008). Cossack-Nagaibaks and serving the Nogai Tatars in the Orenburg army on the borders of the Kazakh steppe: the 18th – early 20th centuries, their descendants and related groups of the Volga region (ethnic migration associated with different routes). *Questions of history and archaeology of Western Kazakhstan*, № 2, pp. 3-17.

Volkov, V. G. (2013). Ancient migrations of Samodians and Yeniseians in light of genetic data. *Tomsk journal of linguistics and anthropology*, № 1 (1), pp. 79-96.

Gumilevsky, G. D. (Filaret) (1857). *Historical-statistical description of the Kharkov diocese*. Dep. IV (Chuguev districts military settlements; counties – Zmiev, and Volchansk) – at Kharkiv. http://dalizovut.narod.ru/filaret/filar_s.htm

Kaziev, S. Sh. (2014). Everyday life inter-ethnic relations: Cossacks, peasants and Kazakh nomads in Western Siberia and Kazakhstan in the early 20th century. *The History of everyday life in Western Siberia late 19th - early 20th centuries*, pp. 29-54.

Kipkaeva, Z. B. (2006). The end of the Nogai Horde: migration and resettlement in the North Caucasus. *The New Historical Bulletin*, № 15, pp. 5-15.

Kobzov, V. S. (1992). New Line. *Bulletin of Chelyabinsk University. Series I: History*, 1992, № 1, pp. 12-26.

Litviniv, S. S. (2010). The study of the genetic structure of the peoples of the West Caucasus according to the polymorphism of the Y-chromosome, mitochondrial DNA and alu-insertions. The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of biological Sciences. Ufa, 23 p.

Lobov A. S. (2009). Structure of the gene pool of the Bashkir subpopulations. The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of biological Sciences. Ufa, 2009, 23 p.

Matyshko, I. V. (2011). The features of funeral ceremony of steppe Pre-Ural nomads of the 13-14th centuries. *Bulletin of the Samara scientific center, Russian Academy of Sciences*, Vol. 13, № 3-1, pp. 280-283.

Mukanov, M. S. (1991). *Ethnic territory of the Kazakhs in 18th – early 20th centuries*. Alma-Ata: Kazakhstan, 64 p.

Muratov, B. A. (2016). DNA-genealogy of Tatar names – 2. Crimean Tatars. *aBEHP «Suyun»*, Vol. 3, № 1 [1, 2], pp. 28-79.

Okonova, L. V. (2011). Toward the question on area of settling of the Kalmyk outside of their main settling territories in the 17th – 19th centuries. *Mongolian studies*, № 5, pp. 65-79.

Ochirov, U. B. (2004). To the question about the number of Kalmyk ethnic groups in the Don and North Caucasus in the late 17th – early 20th centuries. *The South of Russia: cultural-historical phenomenon*, pp. 67-70.

Ochirov, U. B. (2009). Keryati composed torgut uluses of Kalmyk khanate. *Problems of ethnic history and culture of Turkic-Mongolian peoples*, №. 1, pp. 114-123.

Potto, V. A. (1899). *Caucasian war. (The Caucasian war in separate essays, episodes, legends and biographies)*, (5 volumes) [In Network].

Puzanov V. D. (2016). The policy of the Russian state regarding the arms supply of Siberian districts in 17th century. *Historical format*, № 4, pp. 106-123.

Rybalko, A. A. (1995). The History and life of Cossacks Novolinynogo district (Ethnographic essay). Arkaim: Researches. Search. Open. Scientific.

edited by G. B. Zdanovich; Comp. N. O. Ivanova. – Chelyabinsk: Creative. «Stone belt», pp. 116-133.

Sabitov, J. M. & Gabain, M. K. (2015). The ethnogenesis of the Kazakhs from the point of view of population genetics. Questions of constitutional construction and the role of the leader of the nation. III Congress of historians of Kazakhstan. Astana. pp. 375-379.

Skhalyakho, R. A. & Chukhryaeva M. I. (2016). Nogai gene pools in the context of the population of Eurasian Steppe Belt (based on the markers of Y-chromosome). *The Golden Horde civilization*, № 9, pp. 326-333.

Tepkeev, V. T. (2012). On the appearance of the first christened Kalmyks in Moscow in the middle of 17th centuries. *The New Historical Bulletin*, № 33 (33), pp. 18-25.

Toropitsyn, I. V. (2011). Russia and Nogai: search of ways of self-determination and coexistence (first half of 18th century). *Turkological collection 2009-2010: The Turkic peoples of Eurasia in antiquity and the middle ages*, pp. 330-359.

Toropitsyn, I. V., (2012). Ers Mohammed Mullah – an agent of Russian influence among the Nogais (the question of the settlement of Sultanaul in the Astrakhan province in the 1740-1749). *Topical issues of the history and culture of the Nogai*, Issue 1, pp. 106-112.

Toropitsyn, I. V. (2014). Kundrov (Nogai) in the Lower Volga region. *Nogai: the 21st century. History. Language. Culture. From the beginning – the future*, pp. 95-99.

Trepavlov, V. V. (2016). *History of Nogai Horde*. 2-e Izd., rev. and extra – Kazan: «Kazanskaya Nedvizhimost», 764 p.

Trofimova, N. V. & Litvinov, S. S. (2015). Genetic characterization of populations of the Volga-Ural region according to the variability of the Y-chromosome. *Genetics*, Vol. 51, № 1, pp. 120-127.

Tyurin, A. M. (2010). If there are genetic traces of Mongol invasions of the 13th century? Electronic collection of articles «New Chronology», Issue 10. http://new.chronologia.org/volume10/turin_mongoly.php

Tyurin, A. M. (2017). Genetic portrait of Lithuanian Tatars and the phenomenon «Mongol conquests of the 13th century». *Bulletin of Orenburg state University*, № 5, pp. 78-82.

Ustyugov, N. V. & Zlatkin, I. J. (Ed.), (1967). *Essays on the history of the Kalmyk ASSR. Pre-October period*. «Nauka», Moscow, 497 p. [In Network]

Utevska, O. M. & Agdzhoyan, A. T. (2013). The origin of Ukrainian gene pool on Y-chromosomal data. *Bulletin of Kharkov University*, Issue 18 (№ 1079), pp. 87-98.

Utevska, O. M. & Chukhryaeva, M. I. (2015). Genesis of major Cossack groups on the Y-chromosome data. *Bulletin of the Odessa national University. Biology*, Vol. 20, № 2 (37), pp. 61-69.

Yunusbaev, B. B. (2006). Population and genetic study of the peoples of Dagestan according to the polymorphism of Y-chromosome and alu-insertions. The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of biological Sciences. Ufa, 2006, 24 p.

Jankowski H. The Crimean Tatars and Nogais in Turkey. Rocznik Tataryw Polskich, 2000, Vol. 6, pp. 118-126.

РУССКАЯ ДИАСПОРА НА КИТАЙСКОЙ ЗЕМЛЕ: ВАРИАНТ КУЛЬТУРНОЙ ГИБРИДНОСТИ¹

Мещеряков А.Ю., Антропов О.К.

Мещеряков Александр Юрьевич, Астраханский государственный университет,
414056, Астрахань, Россия, ул. Татищева, 20а. Эл. почта: daomesheryakov@gmail.com

Антропов Олег Константинович, Астраханский государственный университет,
414056, Астрахань, Россия, ул. Татищева, 20а. Эл. почта: olegantropov1@gmail.com

Авторы анализируют процесс культурной гибридизации в русской диаспоре Китая. Процесс культурной гибридизации – это скрещивание культур или их пересечение, где образуются новые условия, свойства, законы и иные экзистенциальные нормы. Процесс культурной гибридизации в истории видится авторами в самых разнообразных формах. Культурная гибридность возникает в таких местах, где на протяжении долгого времени осуществляются расовые, языковые, религиозные и прочие культурные контакты. Именно в диалоге культур рождается культурная гибридность. Культурный диалог с Другим/Чужим на китайской территории способствовал зарождению культурной гибридности. «Русская диаспора в Китае» – идеальное место для изучения культурной гибридности, так как представляет собой место пересечения русской и китайской культуры.

Особой формой межэтнического взаимодействия русских и китайцев стал смешанный русско-китайский брак, находящийся «Между» двух культур. В результате межрасовых, смешанных, интернациональных браков появлялось поколение детей – метисов – носителей новой культуры. Культурная идентичность иммигрантов на чужой территории в любом случае изменялась и превращалась в иную идентичность – гибридную идентичность. Процесс культурной гибридизации в конечном итоге привел к появлению целого ряда новых культурных свойств, форм, явлений в истории России и Китая. В статье представлены образы восприятия гибридного пространства, транслируемые в общероссийскую культуру носителями этого опыта культурной гибридности – русскими поэтами, художниками, музыкантами, актерами и мн. др. По мнению авторов, культурная гибридность в различных местах и периодах истории разнообразна и имеет свою уникальную специфику по целому ряду причин.

Ключевые слова: гибрид, культурная гибридность, межкультурная коммуникация, гибридная идентичность, гибридное пространство, Другой/Чужой, русская диаспора, русская иммиграция, Россия, Китай.

Британский историк культуры Питер Бёрк заметил, что в истории культурные встречи и культурный обмен способствуют творчеству людей. В своем труде он также обращает внимание на то, что культурная гибридность особенно заметна в области музыки, где возникают гибридные формы и жанры (2009 стр. 1-6). В 2005 г. американец

¹ Статья выполнена при поддержке РФФИ 17-33-01069 «Встреча с Чужим: российский и дальневосточный опыт межкультурной коммуникации»

азиатского происхождения Кристофер Тин создал песню «Baba Yetu». Данная песня первоначально была названа «Отче наш», а затем переведена на язык межэтнического общения в Африке – суахили. Она была исполнена американцем совместно с группой Стэндфордского университета. Затем для издания в дебютном альбоме была перезаписана с южноафриканской группой Soweto Gospel Choir. В результате песня «Baba Yetu» получила множество наград и была представлена на различных площадках и мероприятиях по всему миру, включая «Дубайский фонтан», «Кеннеди-центр», «Королевский фестиваль зал», «Голливудский-боул» и новогодний концерт на 67-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это уникальное произведение можно смело назвать не только песней народов или песней мира, символизирующей дружбу различных этносов, но и «культурной гибридностью». В данной песни нет четкой культурной границы – она размыта, в ней отсутствует точный культурный континуум. Подобную гибридность можно наблюдать в музыкальном клипе «Baba Yetu» в исполнении Alex Boye и группы «BYU Vocal Point» университета Бригама Янга.

В 1976 г. английский эволюционный биолог Ричард Докинз написал популярную работу «Эгоистичный ген», где указал, что философия и предметы, известные под названием «гуманитарные», по-прежнему преподаются так, как если бы Дарвина никогда не было на свете (1976 стр. 12). Британский исследователь постколониальной теории Роберт Янг в своей книге (1995) уделяет дарвинизму особое место, тем самым открывая перед нами возможность к исследованию культурной гибридности. «Конечно, Дарвин не имел возможности сказать ничего решающего о гибридности. Нэнси Стефан замечает, что без понимания генетики гибридность в эволюции была бы слишком сложной проблемой для Дарвина» (стр. 11-12). Но, важно понимать, что именно Дарвин подводит нас к первоначальному пониманию процесса культурной гибридизации в данном исследовании.

Разумная жизнь на нашей планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования. Человек – это не просто высшая ступень в эволюции, это эволюция, осознавшая саму себя. Большую часть всего, что есть необычного в человеке, можно вместить в одно слово – «культура». Новый бульон – это бульон человеческой культуры (Dawkins, 1976, стр. 156-158). Если представить этнические группы людей в качестве видов или разновидностей, то существенной разницы в рамках биологии между ними нет, но есть несоизмеримые отличия и множественное разнообразие в их культурах. Если мы посмотрим на человека под другим углом, где в качестве вида или разновидности будет выступать раса, то следует обратиться к словам

Генри Хотзе, который утверждает, что различия в расах будут существовать пока существуют расы (Young, 1995, стр. 13).

В свою очередь, Роберт Янг в рамках гибридности формирует понимание о человеке и культуре. «Гибрид (Hybrid) – это слово XIX века. Но мы вспоминаем его снова. В XIX веке данное слово использовалось для обозначения физиологического явления. В XX веке слово «гибрид» было оживлено для описания культуры, в то время, когда культурные факторы определяли физиологическое состояние» (стр. 5). Учение о постоянстве типа могло бы обойти проблему видов, но ей пришлось столкнуться с процессом гибридизации. Об этом хорошо свидетельствует неограниченная рождаемость детей в межрасовых браках. История опровергает мнение о невозможности плодородности человеческих гибридов (стр. 12-13). Помимо академического интереса, эта тема безусловно важна для самого человека. В современном мире она затрагивает практически все аспекты его жизни.

Вероятнее всего «культурная гибридность» (Cultural Hybridity) больше является процессом, нежели результатом. Это процесс, в котором происходит скрещивание культур или их пересечение, образуются новые условия, свойства, законы и иные экзистенциальные нормы. Процесс культурной гибридизации в истории и современности видится нами в самых разнообразных формах.

Роберт Янг анализирует культурную гибридность на историческом фоне. «Обе модели культурного взаимодействия, языка и пола, сливаются в единый продукт, который характеризуется термином – гибридность». Он предполагает, что человеческая раса является гибридной, и что понятие гибридность может служить в качестве «универсального описания культуры» (1995, стр. 5).

Российский историк Якушенков С.Н. замечает, что культурная гибридность возникает в таких местах, где на протяжении долгого времени осуществляются расовые, языковые, религиозные и прочие культурные контакты (2016, стр. 419-422). Новая гибридная культура отличается особым своеобразием и синкретизмом. Соседство с местными народами приводит к активному заимствованию множества культурных элементов (2016, стр. 5-21).

Вполне закономерно, что не каждая культура является гибридной. Питер Бёрк в своей работе обращает внимание: «Если каждая культура является гибридной, то данная концепция теряет свою ценность». Питер Бёрк анализирует культурную гибридность как явление в контексте культурного обмена: «В истории процесс культурной гибридизации в определенных периодах и пространствах проходил где-то сильнее или быстрее, а где-то медленнее». По мнению Питера Бёрка, культурной гибридностью можно назвать новые культурные пространства, явления,

факторы, свойства, которые возникли в следствии культурного столкновения двух или более культур (2012, стр. 13-14). Питер Бёрк упоминает, что всякая инновация в культуре является адаптацией этноса, следовательно, культурные столкновения способствуют творчеству. Культурный обмен – это не просто культурное обогащение (2009, стр. 6).

Три эти идеи представленных исследователей приводят нас к выводу о том, что именно в диалоге культур рождается культурная гибридность. Процесс культурной гибридизации не подчиняется спланированному плану действий, так как исторический процесс не осуществляется по заранее написанному кем-то сценарием. Также не стоит забывать, что культурная гибридность возникала в разных местах на протяжении большей истории человечества на нашей планете.

Исходя из вышеупомянутых идей начальной точкой процесса культурной гибридизации является встреча различных культур. Особое место в процессе культурной гибридизации занимает союз мужчины и женщины разных культур. Так как процесс зарождения человека (будущего метиса) начинается с оплодотворенной клетки – единичной клетки, которая находится «Между» («in-between») различных культур отца и матери. Ричард Докинз называет подобную единичную клетку «узкое горлышко», которое в эмбриональном развитии расширяется, превращаясь в множество клеток – невероятное разнообразии, которое в дальнейшем становится человеком. Эта стадия служит своего рода точкой отсчета (Dawkins, 1976, стр. 206). Никто не мог подумать изначально, что первые контакты русских женщин и китайских мужчин приведут к формированию удивительного разнообразия культуры – «гибридной культуры» в русской диаспоре Китая. Встреча с Другим/Чужим неким образом подготовила основу для начала процесса культурной гибридизации. Поэтому процесс культурной гибридизации нужно рассматривать через призму «встречи с Другим/Чужим» (Cultural Encounters). Именно Чужие на Чужой земле способствовали зарождению единичной клетки – «узкого горлышка». В истории Другой/Чужой – это инаковость, способная порождать процесс культурной гибридизации. Чужой экстраординарен, т.е. не соответствует привычному взгляду на человека. Он выглядит по-особому, говорит на незнакомом языке, его одежда, привычки и обычаи – все вызывает недоумение и настороженность. Это инаковость, т.е. вынесение за пределы норм. В следствии межкультурной коммуникации начинается активный процесс ксероморфизма – процесс формирования тела Чужого как страшного, опасного, угрожающему собственному миру или как неприятного, недостойного, отталкивающего. Данный процесс основывается на алиментарных, вестиментарных и сексуальных традициях этноса (Якушенков, Романова, Якушенкова, 2011, стр. 189-195). Плюс

смешивание культур происходит не только из-за пересечения алиментарных или вестиментарных традиций, языка или хозяйственного уклада. Смешивание происходит на уровне ментальности, формирования новой картины мира, в которой Свой и Чужой встраиваются совершенно новым способом (Якушенков, Якушенкова, 2016, стр. 5-21). Поэтому чтобы понять и оценить важность процесса культурной гибридизации в истории необходимо исследовать множество культурных факторов, возникших вследствие межкультурной коммуникации. В данной статье мы остановимся не только на алиментарных, вестиментарных, и сексуальных предпочтениях этноса.

На сегодняшний день ученые с трудом могут точно ответить на вопрос, где начинается процесс культурной гибридизации, и где он заканчивается? Заканчивается ли он вообще? Следует ли считать гибридное пространство результатом или же это продолжения большого процесса гибридизации? С чем больше связана культурная гибридность с источником ее появления или же с разнообразием гибридных культур? Подчиняется ли процесс культурной гибридизации строгому плану, где образование новых культур происходит постепенно или же это скачкообразное изменение свойств культуры? Наша главная задача в исследованиях ответить на эти интересные вопросы. К сожалению, наука не всегда оперирует точным инструментарием. Поэтому говоря о процессе культурной гибридизации, гибридной культуре, гибридной идентичности и гибридном пространстве необходимо анализировать данные феномены сразу в нескольких плоскостях и в нескольких научных направлениях.

В своей статье мы попытаемся проследить процесс формирования культурной гибридности на примере русской диаспоры в городах Китая (конец XIX – начало XX вв.) в контексте истории и межкультурной коммуникации китайцев и русских. Процесс культурной гибридизации помогает нам лучше понимать культурные изменения в истории русской диаспоры в Китае, а также в других местах нашей планеты. Мы постараемся показать, что «культурная гибридность» больше чем процесс, нежели результат. «Русская диаспора в Китае» – идеальное место для изучения культурной гибридности, так как представляет собой место пересечения русской и китайской культуры, является местом особых исторических обстоятельств в отдельных городах Китая. «Русская диаспора» во всеобщем смысловом понимании – это различные виды концентрации русского этноса в городском ландшафте различных регионов мира.

Р. Янг замечает, что процесс культурной «диаспоризации» означает преднамеренную культурную гибридизацию, процесс объединения, а также диалогизацию этносов и культурных различий (1995, стр. 23). Таким образом, можно уверенно сказать, что гибридность – результат

проживания Другого/Чужого этноса на чужой территории, непознанном мире, неизвестной земле, пространстве чужеродной цивилизации. Общество, находящееся в новых географических пространствах, вынуждено формировать новую картину мира, которая в полной мере отвечала бы новым условиям. Эта картина мира находит свое отражение в языке, религии, литературе, фольклоре, искусстве, идеологии, поведенческих стереотипах и т.д. Конкретный набор этих факторов создает национальную картину мира, выполняющую важную функцию адаптации к различным условиям, как природным, так и социальным (Якушенков, Якушенкова, 2016, стр. 5-21).

Мы будем прибегать к использованию методологических наработок российской, китайской и американской науки: использование постколониальной теории для анализа процессов культурной коммуникации; применение методов городской антропологии; изучение образа Чужого/Другого (Cultural Encounter) – одного из уникальных методов познания исторического процесса; использование понятий процесса культурной гибридизации, культурной гибридности, гибридной идентичности, гибридного пространства, которые помогут понять генезис межкультурной коммуникации в рамках пространства русской диаспоры, ее исторического развития и формирования идентичности населения. При анализе межкультурного диалога китайцев и русских нами учтены история, культура и периодизация русской диаспоры в Китае.

Русская иммиграция в Китай. Точки соприкосновения русской и китайской культуры формировались в истории России и Китая намного раньше времени образования русской диаспоры в Китае. Самыми ранними русскими иммигрантами в Китае были русские старообрядцы, которые бежали от религиозных преследований при императрице Екатерине II более 200 лет назад. Они селились на северо-западе Алтайского края образуя деревни, где сохраняли свою веру (Shear, 2013, стр. 292-298). Следует обратить внимание на то, что присутствие русских в Китае как диаспоры насчитывает не более 200 лет.

Значительная русская иммиграция начинается в 1897 г. в результате строительства Китайско-Восточной железной дороги, проходящей через всю северо-восточную часть территории Китая. А в 1903 г. эта железная дорога была построена, что позволило русским активнее мигрировать по всей территории, где была проложена железная дорога (Го, 2012, стр. 71-77).

На протяжении долгого исторического процесса русские женщины иммигрировали в Китай в силу различных причин: война, революция, экономические трудности, высокая смертность мужчин, половая диспропорция в России, пьянство мужчин, рождение детей вне брака, супружеские измены и др. В Китае можно было встретить много русских

женщин (Тарасов, 2016, стр. 102-121). Женщины по одиночке или группами, например, по несколько сестер перебиралась на китайский берег Аргуни в поисках лучшей жизни. Половые диспропорции в российском обществе компенсировались за счет обратной диспропорции в китайском, которое выступало в роли принимающего (стр. 102-121).

Окончание Гражданской войны в России в октябре 1922 г. привело к тому, что с Дальнего Востока в Китай и другие страны иммигрировало около 1 млн. человек. Первым пунктом назначения иммиграции являлся город Харбин, где у русских была возможность обеспечить себе существование. Русские девушки стремились уехать из Харбина, чтобы искать себе женихов в других городах Китая (Хисамутдинов, 2013, стр. 124-127). В китайской литературе о России отмечается высокий процент разводов в России: «если будите гадать русским по руке – смело говорите, что он (она) будет женат два раза; если вдруг ошибетесь, значит, браков будет не два, а три». Причиной разводов китайские исследователи называют: «Несмотря на то, что русские стремятся к сексуальной свободе в сексуальных отношениях, большинству населения не хватает соответствующих знаний в этой области, что приводит к отсутствию гармонии в браке» (Тен, 2010, стр. 189-200).

В данном исследовании особой формой межэтнического взаимодействия русских и китайцев нами был выбран смешанный русско-китайский брак, находящийся «Между» двух культур. Брак в таких условиях – это способ коммуникации. В основном это брак между: мужчиной-китайцем и женщиной-русской. Русские мужчины на китаянках женились очень редко (Оглезнева, 2010, стр. 6-25). Для русских мужчин китайские женщины были чаще всего не более чем объект, который можно использовать для удовлетворения сексуального желания. Брак русского и китаянки не встречал одобрения в России. Поэтому сексуальное насилие становилось обычным явлением, хотя оно не поощрялось.

Русские женщины и китайские мужчины активно способствовали формированию процесса культурной гибридизации. Многие русские женщины, вышедшие замуж за китайцев, придерживались своей веры, крестили своих детей, а иногда и сами китайцы принимали православие (Монгуш, 2016, стр. 2-8). Часто православие сливалось с китайскими верованиями (Ставров, 2016, стр. 116-133).

Помимо китайцев русские женщины вступали в брак с маньчжурами. Маньчжуры учитывали, что, имея помощницу в лице русской женщины, они будут иметь хорошую хозяйку. Многие русские женщины в Китае устраивали жизнь успешнее, становясь женами иностранцев (Хисамутдинов, 2013, стр. 124-127).

Как мы уже упомянули ранее, особое место в процессе культурной гибридизации является союз, брак, межрасовая связь, сексуальные

отношения русской женщины и китайского мужчины. Плюс ко всему, при первых контактах с Другим/Чужим, и особенно при самой первой встрече, мы очень озабочены сексуальностью Чужого (Якушенкова, 2014, стр. 346-352). Сексуальная культура, сексуальность или секс Другого/Чужого актуальны в данном случае.

Сексуальные традиции русских приковывали пристальное внимание китайцев. Многие традиции рассматривались в негативном ключе. Отношения между мужчиной и женщиной в царской России не описаны как целомудренные и «консервативные» в отличие от восточных обществ. Среди некоторой части китайского населения существует не только стереотип о «моральной распущенности», присущей жителям России, но даже о «культе секса» в российском обществе (Тен, 2010, стр. 189-200). Другая/Чужая женщина рассматривается как объект мужского желания, она сексуально распущенная, гиперсексуальная. Как правило, Другой/Чужой – сексуальный насильник или человек, помешанный на сексе. Насилие к Другой/Чужой женщине доминирующая норма (Якушенкова, 2014, стр. 346-352).

В соответствии с современными представлениями китайцев, молодые русские женщины необычайно красивые: «золотистые волосы, зеленые глаза», стройная фигура, длинные ноги. Китайские авторы отмечают, что женщины в России умеют со вкусом одеваться. Они подчеркивают особое умение русских женщин элегантно носить юбки. Китайские женщины «сначала задирают юбку, а потом садиться, чтобы ее не помять», а женщины в России «аккуратно прижимают юбку к телу, а потом садятся» (Тен, 2010, стр. 189-200).

Русские женщины иммигрировали в Китай не только вдоль береговой линии, но и во многие китайские города. Русские девушки работали в ресторанах, барах, танцевальных залах, гостиницах, на показах моды и кабаре. Часто русские девушки, приезжавшие из Харбина в Шанхай в надежде найти себе жениха и работу попадали в публичные дома. Бизнес процветал везде, где работали русские девушки, так как китайцы покровительствовали этим заведениям, находили их экзотическими. Белая женщина была воплощением западного образа жизни и современности на протяжении всего XX века в Китае. А китайские женщины являлись признаком феодального гнета для многих китайских мужчин. Хорошим примером является сериал «Русские девушки в Харбине» (1994), где центральное значение занимают китайские мужчины, позиционирующие себя как владельцы власти и капитала, а иностранные женщины, желающие заработать являются подчиненными экономическому господству китайских мужчин. Другим примечательным примером является фильм «Дикий поцелуй» (1995), в котором возможность подчинить иностранных женщин себе символизирует не

только возрождение маскулинности китайцев, но и подъем самой китайской нации (Sheldon, 2000, стр. 25-47).

Сексуальная идентичность Другого/Чужого актуальна в изучении не только на первоначальной стадии, но и на протяжении всего процесса культурной гибридизации, так как наилучшим образом отображает встречу и смешивание двух или более культур.

От гибридной идентичности к гибридной культуре. Всеобщими терминами обозначающими русских в Китае считаются элосыцзу жэнь (俄罗斯族人) и элосы жэнь. Также можно встретить термин «русские в Китае» (чжунго дэ элосыцзу). В массовом сознании китайцев второй термин служит для обозначения как гражданской, так и этнической принадлежности. Во многих русско-китайских словарях между этими понятиями нет четкого различия (Тен, 2010, стр. 189-200). Термины элосыцзу жэнь и элосы жэнь несут историческую значимость в изучении гибридной идентичности русских в Китае. Современные элосыцзу – это потомки браков между русскими и китайцами, что позволяет отнести данный термин к гибридности. В обиходе и иногда в научной литературе используют термин хуньсюжень (混血人) – люди со смешенной кровью, т.е. метисы. В повседневности иногда употребляется слово эрмаоцзы (二毛子) – обрусевшие русские, потомки межнациональных браков, данное слово несет негативный оттенок. В настоящее время китайцы используют термин элосыцзу, либо хуаэ хоуи (华俄后裔) – потомки китайцев и русских (Ставров, 2016, стр. 116-133). Также можно встретить термин «русский харбинец», который появился вместе с основанным 16 мая 1898 г. городом Харбином. Прибывшие на место строительства главного узлового центра КВЖД русские работники стали не только основателями молодого города, но и первыми его жителями на китайской земле (Курто, 2011, стр. 131-145).

«Русская народность Китая» имеет небольшую численность, но при этом входят в число 56 национальностей, проживающих в настоящее время на территории Китая. Они также представляют одно из 22-х национальных меньшинств в Китае численностью менее 100 тысяч человек (Тарасов, 2016, стр. 102-121). Заметим, что в Китае существует особое направление национальной политики – охрана культуры этнических меньшинств. Законодательство Китая защищает право неханьских народов на сохранение и развитие традиционной культуры, религии, верования и языка (Ставров, 2016, стр. 116-133).

В результате межрасовых, смешанных, интернациональных браков появлялось поколение детей – метисов. Данный момент в истории Китая и России, показывает, что культурная идентичность иммигрантов на чужой территории в любом случае изменяется и превращается в иную идентичность, совершенно незнакомую человечеству – гибридную идентичность. Следовательно, русская диаспора в Китае – это смешанное пространство, где проживают не только русские и китайцы.

Создаваемая совершенно новая культурная ситуация порождает особые гибридные личности, совмещающие в себе множество культур (Якушенков, Якушенкова, 2016, стр. 5-21). Между культурами нет четкой или устойчивой культурной границы или культурного континуума. Разнообразное смешивание и культурное взаимодействие, происходящее в Китае между русскими и китайцами привела к поиску новой идентичности – гибридной идентичности.

«Каждый день с самого рождения мои пути пересекались с китайцами, – вспоминает Ксения Волкова, родившаяся в Китае и прожившая в нем до 1954 года. – Мы русские всегда жили рядом с ними. Китайцы нуждались в нас также, как и мы в них. С детства я привыкала к ним и считала, раз я живу в Китае, значит он такой же мой, как и для китайца его страна. Я ела китайскую еду, играла с китайскими девочками, не чувствуя разницы, кто я и кто моя черноглазая подружка... Родители поддерживали хорошие взаимоотношения с соседями-китайцами, и мы были частью этой страны с ее укладом и бытом» (Старосельская, 2006, стр. 32).

Сложилась внутренняя разница между русскими-китайцами. Жители современного китайского приграничья являются уже редко вторым, чаще третьим, а в основном четвертым и пятым поколением потомков межнациональных браков начала XX века. Родоначальниками современных «русских» фамилий будут русская прабабушка и китайский прадедушка, рожденные в начале XX века. В 1954 г., когда часть китайско-российских потомков вступали в китайское гражданство, большинство выбирало себе нацию «хань», которая является основным этническим образованием Китая, а не русскую нацию, которая составляла в Китае этническое меньшинство, по причине нежелания возвращаться в Советский Союз (Мяо, 2015, стр. 128-135). В Харбине русских, менявших гражданство, называли «харбинские редиски» – красные снаружи, белые внутри (Barker, Gheith, 2004, стр. 154).

В 1990 г. многие изменили свою национальность с ханьцы на русские, когда в Китае провозгласили равноправие национальных меньшинств (Го, 2012, стр. 71-77). Одни метисы склонялись к принадлежности китайского народа, другие к русскому. Некоторые могут называть себя «настоящими китайцами», некоторые из них в пользу

наличия гибридной идентичности могут идентифицировать себя как российско-китайских или китайско-российских личностей, русскими азиатского происхождения или китайцами русского происхождения, синьцзянскими русскими и мн. др. Новая идентичность, отличается от прежней, начальной, она не зависит от России или Китая, она зависит от культуры, которая сформировалась в результате межкультурного диалога китайцев и русских.

Само понятие самоидентификация означает попытки определить свое место в мире, доказать самим себе свое исключительное право на существование. Французский философ П. Рикёр в своей книге «Самость и инаковость», самость (self), т.е. наша сущность (идентичность – same, identity), «обнаруживает себя в контексте сравнения; ее противоположностями являются Другой, противоположный, различный, непохожий, неравный, обратный». Но наша самость есть еще и наше право быть другим (Романова, Хлыщева, Якушенков, Топчиев, 2013, стр. 37).

Некоторые российские исследователи в своих работах поднимают вопросы национальной, культурной, этнической идентичности или сохранения этничности, самобытности. Они утверждают, что в некоторых русских диаспорах Китая произошел процесс «окитаивания», «китаизации» в результате чего сформировался «окитаенный» русский. Другие наоборот считают, что в русских диаспорах существовали эффективные способы сохранения и развития русской идентичности, не позволяющие «китаизировать» русских или стать «китайцами» – китайскими русскими. Оба мнения уводят нас в заблуждение – они ошибочны, так как в результате межкультурной коммуникации русских и китайцев появлялись дети-метисы, не принадлежащие ни к русской, ни к китайской культуре. Русские в Китае являются метисами, некоторые из них более гибридные, чем другие. Первое и дальнейшие поколения метисов будут принадлежать к «промежуточному» пространству, которое находится «Между» двух культур: русской и китайской, а то и больше. Все это название «гибридная культура», где преобладает различное сочетание форм, свойств различных культур, где границы идентичности пересекаются (X). Происходит не доминирование какой-то одной культуры, а смешивание различных культур, где возникает сложная проблема выбора, принадлежности к культуре, этносу, нации, стране и др. – формируется состояние культурной гибридности. Эта удивительная гибридность российских иммигрантов, является результатом встречи с Другим/Чужим и пересечением с его культурой, рождением единичной клетки – будущего метиса. Все это следует определять, как универсальное явление в истории человечества.

Процесс культурной гибридизации продолжается в результате появления первого поколения метисов, которые в свою очередь

продолжают создавать «промежуточное» пространство. Метис – это наиважнейший субъект процесса культурной гибридизации. Культурная гибридность «промежуточного» пространства особенно ярко отражается в городском ландшафте и произведениях самих гибридов.

Формирование русской диаспоры. Тенденция к расселению этнической диаспорой преобладала в течении долгого времени активной иммиграции русских в Китай. Русская диаспора в Китае начала формироваться в XVII в. (Курто, 2011, стр. 131-145). В начале XX века, с открытием КВЖД, в Китае стали бурно развиваться группа городов. Особое значение приобрел город Харбин – центр провинции Хэйлунцзян (известный как «Восточный Париж», «Восточный Петербург», «Восточная Москва»), который быстро превратился в международный центр (Тен, 2010, стр. 189-200).

Российский ученый Старосельская Н.Д. в своей книге (2006, стр. 42) отмечает: «Пестрый, шумный, яркий, многонациональный, этот город действительно в чем-то схож с Санкт-Петербургом, а местами – с Москвой и другими крупными городами Российской империи. Возникнув на месте маленького китайского селения, он как-то очень быстро вырос и приобрел важное значение для всей Маньчжурии».

Со временем Харбин стал чудом современной китайской урбанизации. Харбин стал центром моды в одежде, еде, кино, театра, музыки и мн. др. Русская иммиграция не была единственной. В Харбине присутствовали другие представители европейской культуры – французы, итальянцы, англичане, немцы, поляки и мн. др., которые так же оказывали свое влияние на культурный облик города – образуя харбинскую архитектуру, алиментарную и вестиментарную культуры с международным колоритом (Мяо, 2015, стр. 128-135). «Что же это за штука – Харбин: Европа или Азия?» или «Это Россия или Китай?» – жители этого города стали задавать себе эти вопросы с начала 1920-х гг. «Мы оказались среди двух миров, – писала русский поэт Л.Ю. Хаиндрова – Харбин был китайским городом. Харбин оставался старорежимным русским городом, и о нем можно было сказать здесь русский дух, здесь Русью пахнет» (Хаиндрова, 2003, стр. 274). Харбин является «перекрестком» культур, инаковым местом или пространством «Между», где в основном смешивается две культуры: Россия и Китай. Харбин – это гибридный город.

Исследователи творчества поэтов и писателей русского Харбина отмечают, что их произведения вобрали в себя традиции классики и «серебряного века», «монпарнасские» веяния и экзистенциальные мотивы (Аурилене, 2013, стр. 128-136).

Города Харбин, Порт-Артур и Дальний (Далянь) сочетали в себе гибридную планировку, смешивающую в себе две относительно

самостоятельные части – китайскую и европейскую. Большинство европейских тенденций были инкорпорированы из Москвы и Санкт-Петербурга. В основу проектов новых городов, возникавших на заре нового века, была заложена идея города-сада. Город-сад – это иная концепция, которая берет свое начало от англичанина Э. Говарда. Особую популярность идеи Э. Говарда получили среди руководства железных дорог. В этих городах проявился передовой характер самой отрасли, ее ориентированность в будущее, связь с европейской системой образования, да и в целом высокий уровень образованности (Якушенков, 2017, стр. 15-17). Город-сад предполагал единовременное создание живописной планировки всего участка состоящей из домов на одну семью и необходимой инфраструктуры – культурных, образовательных, спортивных, развлекательных учреждений, а также района с производственными предприятиями (Корчагина, 2016, стр. 668-675).

Одним из смешанных мест города Харбина являлся Зеленый Базар с узкими извилистыми улочками, плотно застроенными различными домами. Зеленый Базар являлся рынком для горожан, а также находился между Новым Городом и Корпусным, Госпитальным городками. В сложных условиях перенаселенности района в нем существовала харбинская бедность. Иммигранты добавляли Зеленому Базару культурной гибридности. Самая бедная часть иммигрантов оседала именно в этом районе, пытаясь построить собственный дом. Там жили русские и китайцы, смешивались языки, привычки, быт. Каждый район Харбина застраивался быстро и хаотично, и уже с 1914 года «Зеленый Базар» не выделялся своей экзотичностью на фоне других районов Харбина.

А в любимом месте отдыха харбинцев – районе Затон, можно было встретить русских и китайских лодочников на традиционных китайских лодках с именами «Москва», «Наташа», «Рязань», «Казань», «Красотка». (Старосельская, 2006, стр. 59-61).

В фильме японского режиссера Симадзу Ясудзиро «*Watashi no uguisu*» (1994), город Харбин представлен современным западным городом в Китае с особой природой, имеющим православные соборы, большие кресты и музыку.

К началу 1940-х в Харбине было более 20 православных храмов и более десятка культовых построек других конфессий. Сегодня в городе действует одна православная церковь, хотя сохранилось их пять. Сохранились костел, синагога, мечеть, однако они не используются по своему прямому назначению (Крадин, 2001, стр. 83).

Во второй половине XIX века начала формироваться полиэтническая – преимущественно русская диаспора – Трехречье – Саньхэ цюй (Внутренняя Монголия). В данном регионе русская диаспора представляли из себя деревни (Забияко, Забияко, Зиненко, Чжан Жуян,

2016, стр. 109-125). Например, русская национальная волость Эньхэ в Барге. Жизнь русских в Трехречье является результатом длительной истории формирования русской диаспоры на этой территории. В 70-е годы XIX на правобережье Аргуни на китайской территории постоянно возникали золотые прииски, туда проникали русские для добычи золота. В то же время после отмены запрета на заселение ханьцами северо-восточных провинций Китая китайские переселенцы стали масштабно осваивать эти территории. Часть из них нанимались на золотодобывающие прииски к российским капиталистам. Междуречье притоков Аргуни – Гана, Хаула и Дербула – стало активно заселяться русскими после 1920 года (Тарасов, 2016, стр. 102-121).

Помимо Харбина и Трехречья русская диаспора формировалась в отдаленной провинции Северо-Западного Китая – Синьцзян (также называемый китайский Туркестан). Русский след в данном регионе довольно глубокий. Активные русские диаспоры провинции Синьцзян сформировались в Кашгаре, Чугучаке, Кульдже, Хотане и Урумчи. В урбанистическом ландшафте этих городов подробно прослеживается русское культурное наследие. Это ставни и различные наличники на окнах домов, старые потемневшие русские вывески, скамейки у массивных ворот. В центре Кульджи сохранилось несколько зданий бывшего российского консульства, а также сохранился «русский квартал» (Монгуш, 2016, стр. 2-8). Русские диаспоры Синьцзяна включали в себя не только этнических русских, но и евреев, узбеков, киргизов, казахов и мн. др. народы, которые мигрировали в Синьцзян по разным причинам. Религиозно русская диаспора Синьцзяна также очень разнообразна – православные русские, иудеи, старообрядцы, католики, баптисты и мусульмане (Shear, 2013, стр. 292-298). Русские оставшиеся в Синьцзяне в течении долгого времени жили в изоляции от европейской культуры, им приходилось выстраивать особый межкультурный диалог помимо ханьского народа с местными народами неханьского происхождения – уйгурами, дунганами, казахами, киргизами, монголами и другими более мелкими этническими группами (солоны, галча, сибо, дулане, чахары, лобыки) (Монгуш, 2016, стр. 2-8).

Со временем сформировались основные центры русской диаспоры в китайских городах: Харбин, Шанхай, Урумчи (Синьцзян), Тяньцзин. Русские школы, театры, клубы, кинотеатры, рестораны, православные церкви, больницы оказывали влияние на этнокультурный облик китайских городов – многое имело этнокультурную специфику. Русский клуб в Урумчи был центром общественной и культурной жизни русской диаспоры, там проводили лекции, танцевали, также имелся театр, концертный зал, балет, ресторан и кинотеатр. Русская диаспора состояла, как из белых русских, так и красных русских (большевики), которые

заполнили важную нишу в культурной, социальной, политической и экономической жизни Синьцзяна.

В случае с Синьцзяном русская диаспора представляла своим жителя и новоприбывшим русским иммигрантам «зону комфорта» – безопасную, культурную, языковую и религиозную поддержку. Русская диаспора имела различные храмы, кулинарные традиции из России, большое количество многообразной русской прессы, разные языки, городские сады и парки, оранжереи, почтовые отделения, банки, библиотеки, консульства, казармы для войск (Shear, 2013, стр. 292-298). Схожую ситуацию мы можем наблюдать и в русской диаспоре Харбина (Курто, 2011, стр. 131-145). Вместе с тем, американский исследователь Майкл Шер замечает, что в Синьцзяне, несмотря на смешанные браки, интеграция между диаспорами была незначительна. Таким образом, отношения между русскими и другими этносами в Синьцзяне были в значительной степени ограничены в общественной сфере (Shear, 2013, стр. 292-298). Это замедлило процесс формирования культурной гибридности.

Культурная гибридность. Алиментарная культура является базовой частью любой этнической и национальной культуры, представляет собой систему культурных кодов, вокруг которых выстраиваются и остальные части культуры. С помощью различных пищевых символов и метафор мы познаем мир, так сказать, «впитывая его с молоком матери». Алиментарная культура встроена в картину мира всех народов с помощью множества механизмов (Якушенков, Сун Цзе, 2015, стр. 247-253). Исходя из этого, алиментарная культура детально отражает сформировавшуюся гибридную культуру в русской диаспоре Китая. В частушках находит отражение непривычность китайской кухни для русских женщин:

*Ой, милочка моя,
Почему ты похудела?
– За китайцем я была,
С пару манты ела*

(Забияко, Забияко, др., 2016, стр. 109-125).

Выбранная нами частушка не относится к гибридной культуре, однако, она косвенно имеет к ней отношение, так как гибридная культура формируется в результате встречи с Другим/Чужим.

Многие блюда были завезены русскими иммигрантами. В Китае русские использовали русские печи для приготовления пищи (Тарасов, 2016, стр. 102-121). Различия кулинарной культуры Китая и России – состоят не только в традиции питания, но и в способе приготовления.

Заметим, что такие семантические поля как «печь 烤» и «парить 蒸» имеют как сходства, так и различия (Лю, 2016, стр. 116-121). Изменение кулинарной лексики отчетливо отражает не только межкультурную коммуникацию различных народов, но и процесс культурной гибридизации. Поэтому в условиях активного межкультурного диалога способы приготовления пищи будут зависеть от двух или более различных культур. Вероятно, в культуре появлялось совершенно новое гибридное семантическое поле, которое скрещивает в себе два глагола – русского «печь» и китайского «парить».

Хотелось бы заметить, что русский и китайский языки являются гибридными языками, так как контакты между данными языками в истории очень многочисленны. В истории России и Китая не трудно найти примеры лингвистической гибридизации. После событий Октябрьской революции в России множество слов было заимствовано Китаем. На сегодняшний день в китайском языке используются такие исторические слова как большевик (布尔什维克), меньшевик (孟什维克), советы (苏维埃), самовар (茶炊) и мн. др. Лингвистическая гибридизация проявляется также в повседневности китайцев Харбина, которые могут говорить по-русски. Многие слова вошли в жизнь не только города, но и китайского языка в отдельных местах Китая, где проживали и продолжают жить русские: мадам, базар, платье, грубая колбаса, блин, пасха, окрошка, пиво и мн. др. Заметим, что наименования таких блюд, как пельмени, манты, плов, шашлык инкорпорировались в русский язык из восточных языков. В прозе русских писателей Харбина содержится два-три китайских заимствованных слова, чаще всего *фанза* – дом, а также слово *чифан* – есть (吃饭 – «кит. «обедать, ужинать»») (Гончаренко, 2009, стр. 44).

Интересная культурная гибридизация произошла в Харбине с пивом. Пиво импортировалось в 1900 году для того, чтобы удовлетворить потребности русских иммигрантов в Китае. Известный русский предприниматель Улубулевский открыл в Харбине первый пивоваренный завод. Впоследствии под влиянием алиментарной культуры русских иммигрантов харбинцы, которые вначале не понимали вкуса этого напитка, полюбили вкус пива. Неожиданно новая культурная тенденция «пить пиво» приглянулась в Харбине за пределами русской диаспоры. Так пиво превратилось в популярный напиток в Харбине. Каждым летом в Харбине на Центральном проспекте можно наблюдать уникальной культурное явление – пивной фестиваль, где можно увидеть китайцев, русских и иностранных туристов с кружкой пива в руке (Мяо, 2015, стр. 128-135). Так харбинское пиво – *ха ни* (哈尔滨啤酒) превратилось в самое

популярное пиво в Китае и стало частью китайской кухни. На сегодняшний день «харбинское пиво» – это огромная корпорация с 14 заводами в разных городах Китая. Крайне редко в ресторанах Харбина можно увидеть столик, на котором не стояла бы бутылка «харбинского» или бокал разливного пива. Многие блюда к пиву, появились в Китае при содействии российской гастрономии. В качестве примера, можно привести закуску к пиву – «вареные раки», «копченая корюшка», «селедка под шубой» (Грибин, 2008).

Здесь уместно вспомнить, что с одной стороны, в России, как и в Китае, для гостей всегда открывают новую бутылку спиртного. Если приглашают друзей в гости, то мероприятие обходится почти в ползарплаты, потому что «дружба дороже денег». Также китайцы обращают внимание: «пьют из больших рюмок, и не маленькими глоточками, а сразу опрокидывая их» (Тен, 2010, стр. 189-200).

Среди товаров, продающихся в «русских лавках» много шоколада, рыбных консервов, паштета из гусиной печени, водки, хлеба, икры. При этом следует отметить, что практически все эти товары произведены в Китае.

В Харбине помимо китайских, можно встретить много ресторанов русской кухни: «Брежнев», «Татос», «12 стульев», «Восточная Москва», «Гоголь бар», «Русский размер» и мн. др. Одним из популярных и полюбившимся русскими мест является ночной клуб «Blues Bar», он же «Болозы Джейба». В основном его посещают русские студенты, танцовщицы, проститутки, бизнесмены. В рекламных целях клуб использует русскую тему, что привлекает в него большое количество самой интернациональной публики (Курто, 2011, стр. 131-145).

Своеобразную сферу в жизни русской диаспоры составляли кабаре «Вигвам», «Кривой Купидон», «Ко всем чертям», «Бродячие собаки», «Chat noir», «Летучие мыши», «Black cat» и мн. др., возникавшие в среде актеров, художников, поэтов и музыкантов. Постепенно кабаре становились доступными и для обывателей. Для многих китайцев русские кабаре стали излюбленным местом, особенно если в них имелась китайская этническая специфика и присутствовали русские женщины. В отдельном городе Китая одновременно действовало несколько кабаре, где можно было встретить множество китайцев. «Кто с женой избрал банальность, в Ша-нуар не приходи. / В Ша-нуаре не обычно – и особый четкий стиль / Временами неприлично – но приличие – костыль!» (Песенка Ша-нуара) (Черкашина, 2001, стр. 57-62).

Процесс гибридизации приводит в конечном итоге к появлению целого ряда новых культурных свойств, форм, явлений в истории России и Китая. В ответ на приток русских иммигрантов литературные, театральные и музыкальные произведения стали регулярно появляться в XIX – XX вв.

В 1907 г. в китайской истории впервые обратились к постановкам русской драматургии. Обществом «Чунь лю» была поставлена пьеса по мотивам романа Л.Н. Толстого «Воскресенье». Спустя несколько лет к этому роману обратилась женская труппа «Куй дэшэ» (Сияющая добродетель) и создала спектакль «Отказ от свадьбы». С 1919 по 1924 гг. на сцене китайского театра ставили «Власть тьмы» Л.Н. Толстого, «Грозу» А.Н. Островского. В 1921 г. в Тяньцзине «Новая нанькинская театральная труппа» осуществила постановку по мотивам произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» в переводе Хэ Цинмина. Постановка получила живой отклик у китайской публики, стала транслироваться в Китае в разных вариантах перевода. Герои в пьесе имели китайские имена и были одеты в китайские костюмы чиновников. В 1938 г. систему К.С. Станиславского на уроках актерского мастерства стали применять Хуан Цзолин и Дань Ни.

В начале XXI в. между Россией и Китаем существует сильное притяжение в области театрального искусства, что напрямую свидетельствует о функционировании процесса культурной гибридизации. Китайские режиссеры стремятся адаптировать пьесы А.П. Чехова в современной китайской драме, сохраняют специфику системы принципов Чехова. В истории китайского театра разговорной драмы хуацзюй первое обращение к постановкам драматургии Чехова происходит в 1930-е гг. – ставят спектакли «Иванов», «Дядя Ваня», «Три Сестры», «Вишневый сад». Активная межкультурная коммуникация русских и китайцев позволила создать на сцене новое культурное явление, как, например, совместная творческая работа режиссеров МХАТ Владимира Петрова и Ван Пэна в 2013 г. – спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» (Шулунова, 2014, стр. 431-434).

Образы восприятия гибридного пространства транслировались в общероссийскую культуру носителями этого опыта культурной гибридности – русскими поэтами иммигрантами. Лирические зарисовки китайского быта, отлично отражают постепенное вливание русских в этот новый мир:

*Сижу с китайцами в харчевнях,
Ведя бесед несложных ряд,
И странной радостью напоен
Мой каждый в быт Китая взгляд!*

(М. Спургот «Сижу с китайцами в харчевнях...», 1931)

Эти небольшие четыре строчки стихотворения показывают межкультурную коммуникацию китайцев и русских, где культура Китая в сознании русского иммигранта становится также близка и дорога, как и

самим китайцам (Забияко, Забияко, Левашко, Хисамутдинов, 2015, стр. 189-190). Также мы находим в данных сюжетах гибридную идентичность: «Художник – я, и, несомненно, русский, / Но не лишенный иностранных черт» (Н. Щёголев «Русский художник»).

Образы особенных гибридных – харбинских времен года коррелируют у А. Паркау со встречаей с Другим/Чужим, а также с воспоминаниями о России:

*Харбинская... весна... Гудят автомобили,
Кругом густая мгла, пирушка злобной тьмы,
Китайцы все в очках от ветра и от пыли,
Японцы с масками от гриппа и чумы.*

*Очки чудовищны, и лица странно жутки,
В смятенном городе злоеций маскарад.
Ни снега талого, ни робкой незабудки,
Ни звонких ручейков, ни вешних серенад.*

(А. Паркау «Харбинская весна»)

Отношение к Другому/Чужому пространству как нельзя лучше отразилось в признании Маньчжурии в любви, лирическим героем Е. Яшнова, который обращается к аргументации через доступные человеку чувства – осязание, зрение, слух и др.: «Пыль сладковатую дорог, // Чужой пейзаж, чужой порог, // Восточной девушки ланиты // И речи кружево чужой // Люблю бродяжною душой» («В Маньчжурии») (Эфендиева, 2011, стр. 72-78).

В стихотворении Н. Щёголева «В раздумье» накладывается образ России на свое маньчжурское пространство:

*...Но так безумно я мечтаю,
С такою верностью люблю,
Что даже и в часы лихие,
В болезни, гнете и тоске,
Все мнится мне, что я в России,
А не в маньчжурском городке...*

(Н. Щёголев «В раздумье»)

Изначально Китай помог русским иммигрантам из России выжить и подарил своеобразный облик восточной ветви русского зарубежья.

Сначала он помог удалиться от тягот реальной жизни и погрузиться в тайны чужой истории, чужой культуры, чужой земли. Затем стал источником новых тем и сюжетов (стр. 158-177). Ключевыми строками являются: «Все мниться мне, что я в России, / А не в маньчжурском городке», в которых новый город, новое пространство воспринимается поэтом как пространство «Между». Данные строки отражают сложившееся гибридное пространство. В этой поэзии писатели часто принимали различную позицию живущего в чужом месте и проектирующего реальность Другого (Barker, Gheith, 2004, стр. 163). Все это есть результат встречи с Другим/Чужим, чужой территорией, которое испытали многие русские, оказавшиеся свидетелями строительства нового большого чудесного гибридного пространства в городах Китая. Многие писатели, художники, композиторы, очутившись в изгнании, в своих мемуарах признавали, что им «не хватает российского пространства, шире воздуха» и не ловко вживаться в новую среду, таинственную и пугающую (Говердовская, 2000, стр. 123).

Встреча с Чужим в условиях культурной гибридности очень ярко проявляется в популярном на Дальнем Востоке сборнике рассказов «Звезды Маньчжурии», написанным писателем-эмигрантом А.П. Хейдоком. «Звезды Маньчжурии» – это исключительно гибридный продукт, представляет собой некий сплав духовных культур китайцев, русских, монголов. В сборнике также есть выходы на египетскую мифологию, представления о жизни современного западного человека. Через диалог двух человек автор показал столкновение двух культур, двух способов мышления и видения мира (Мяо, 2014, стр. 133-142). Конструирование образа Другого/Чужого происходит по линии метафорического переноса его в разряд монстров, животных и т.д. Происходит демонизация или монстроизация Другого/Чужого (Якушенков, Якушенкова, 2012, стр. 233-240). Неудивительно, что в гибридных рассказах А.П. Хейдока есть место существованию таинственного дьявола, чертей, демонов, нечистой силы, сил темного царства, а также есть место удивительным мыслям, сверхъестественному, божественному, столкновения с чудом, мистической природой (Мяо, 2014, стр. 133-142). Подобное гибридное произведение сформировалось в результате тесного сочетания в рассказах автора китайской культуры, народных обычаев, мифов, верований (буддизма, даосизма и др.), пространства Маньчжурии и культуры русского человека, его мировосприятия. Именно это сочетание диаметрально противоположного сделало сборник «Звезды Маньчжурии» таким интересным и популярным на Дальнем Востоке и упрочило положение А.П. Хейдока в русской литературе эмиграции.

Другой/Чужой в истории Китая – это либо «варвар», либо «заморский дьявол». Но важно понимать, что отношение к Другому/Чужому претерпевало изменения в истории Китая. Этноцентрическое отношение к Другому/Чужому, сменялось на сопоставительное. Китай выводили из кризиса посредством перезапуска ментальной модели организации сознания (Крюков, Малявин, Софронов, Чебоксаров, 1993). В период формирования русской диаспоры в Китае, русские, конечно, воспринимались как Других/Чужих, но не характеризовались как вторгающееся, раздражающее, атакующее, заполняющее, вытесняющее, причиняющая сила. С первых годов своего поселения на новой родине русская этническая группа не почувствовала на себе явного проявления китайского этноцентризма, шовинизма, ксенофобии, национализма и дискриминации как результата встречи с Чужим: восприятие культуры русского этноса не происходило в рамках «Другой/Чужой – Враг»; формирование русской диаспоры не затруднило межкультурную коммуникацию русских и китайцев, а наоборот сблизило их; русские и китайцы не почувствовали на себе «культурный шок», пытались воспринять культуру, отличающуюся от их собственной; активно формировались межнациональные браки; не сложилось явного сегрегированного закрытого общества; этнические русские работали в качестве ученых, инженеров, врачей, учителей, солдат и офицеров, фермеров, торговцев, водителей и пр. – обладая высокой квалификацией русским иммигрантам удалось со временем сформировать элиту в Китае (Shear, 2013, стр. 292-298).

Однако, в истории Китая существовали периоды обострения негативного отношения к русским. Победа коммунистов в Синьцзяне положила начало конца русской диаспоры. Это событие произошло 10 ноября 1949 г., когда большие группы беженцев, в основном белых русских, отправлялись на границу с Индией. А в феврале 1950 г. Советский Союз и новая Китайская Народная Республика подписали договор о дружбе и союзе – «Русский и китаец – братья навек». В результате этого договора тысячи советских беженцев вернулись в Синьцзян. Но это была лишь временная пружина для русской диаспоры. Начиная с 1956 г. отношения между этими двумя коммунистическими сверхдержавами ухудшились. В 1961 г. советские консульства в Урумчи, Кульдже и Кашгаре были закрыты. Этнические русские столкнулись с дискриминацией. Эта ситуация началась в 1950-е гг. и продолжилась ухудшаться до 1962 г.

В 1966 г. началась Культурная революция в Китае, которая вызвала «культурный шок» во многих городах Китая, в том числе и в Синьцзяне. Сформировались анти-иностранные чувства, антирусские настроения, а в дальнейшем и русофобия, которые привели к бегству практически всех

русских из Синьцзяна (Shear, 2013, стр. 292-298). Поколения метисов от русско-китайских браков подвергались массовой дискриминации и репрессиям по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Русский язык оказался под строгим запретом, быть русским и говорить по-русски во время Культурной революции стало опасно. Многие русские православные храмы были уничтожены (Тарасов, 2016, стр. 102-121). Нынешние «элосыцзу» – русские предпочитают не вспоминать эти тяжелые испытания, которые выпали на их долю в период Культурной революции. Для нынешнего русского Китай – это страна, благодаря которой он и его предки смогли выжить (Гутин, 2011, стр. 50-56).

Однако обратим внимание на то, что пресловутые образы «казаков» – злых агрессоров или коварной Российской империи, воспользовавшейся трудностями Китая для заключения неравноправных договоров, до сих пор властвуют над умами и эмоциями многих китайцев. Оценка российской политики XIX – начала XX вв., как политики колониальных захватов известна каждому китайскому школьнику.

Этнофолизм в отношении русских служило слово «ламоса». Словами «ламоса лайла» – русский пришел – китайки пугали своих капризничавших детей. С именем «ламоса» сочеталось представление о людях, наделенных колдовской силой, о людях страшных, волосатых, пугающих, о которых китайцы говорили недоброжелательно (Забияко, Кобызов, Понкратова, 2009, стр. 155-165).

Эти периоды и отдельные моменты в история Китая отчетливо показывают изменение отношения к Другому/Чужому. В свою очередь, процесс культурной гибридизации в данные периоды в истории русской диаспоры приобретает особые черты. При этом заметим, что процесс культурной гибридизации после Культурной революции в отдельных местах Китая прекращается, а где-то уничтожается. Изменение отношения к Другому/Чужому неразрывно влияет на процесс культурной гибридизации.

Сегодня подавляющее большинство потомков этнических русских живут в Синьцзяне. По данным переписи населения за 2002 г., примерно 9000 русских остаются в Синьцзяне, образуя небольшой процент от общего числа населения (Shear, 2013, стр. 292-298). Начиная со второй половины 1990-х гг. в Синьцзяне снова появились русские (Монгуш, 2016, стр. 2-8), которые формируют продолжение истории русских в этом регионе, создавая гибридную культуру.

Заключение. Таким образом, из нашего исследования видно, что процесс культурной гибридизации – это процесс смешивания, сочетания различных культур, зачастую диаметрально противоположных, в результате которого происходит образование гибридной культуры – новой

культуры. Процесс культурной гибридности в различных местах и периодах времени истории разнообразен и имеет свою уникальную специфику по целому ряду причин: особенности территории; наличия точек соприкосновения культур у двух или более народов; характера межкультурной коммуникации между этносами; особенности исторического развития общества и мн. др.

Описанный выше процесс наталкивает на мысль, что культурная гибридность в разных местах представляется в различных вариантах. По многим показателям процесс культурной гибридности в Китае будет незначительным образом отличаться от подобных явлений в России, США, Европе или Африке. Сравнение различных видов или типов процесса культурной гибридизации позволяет нам выявить множество различий, но их сходство позволит объединить их всех одним универсальным концептом – культурная гибридность. А это означает, что культурная гибридность – культурно-историческое явление. Вместе с тем, данный подход применим к большинству смешанных пространств в истории человечества.

Список литературы

Barker, A.M. & Gheith, J.M. (2004). *A History of Women's Writing in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Burke, P. (2012). *A Case of Cultural Hybridity: the European Renaissance*. Germany: Max Planck Institute for Social Anthropology.

Burke, P. (2009). *Cultural Hybridity*. Cambridge: Polity Press.

Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. New York: Oxford University Press.

Shear, M. (2013). Strangers in a strange land: the Russian community in Xinjiang, and its interactions with the local peoples. *Каспийский регион: политика, экономика, культура*, 3 (36), стр. 292-298.

Sheldon, H. Lu. (2000). Soap Opera in China: The Transnational Politics of Visuality, Sexuality, and Masculinity. *Cinema Journal*, №40 (1), стр. 25-47.

Young, Robert J. C. (1995). *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*. London, New York: Routledge.

Аурилене, Е.Е. (2013). Судьбы русской эмигрантской культуры в Китае (1920-1940-е гг.): региональный фактор. *Проблемы Дальнего Востока*, 3, стр. 128-136.

Го, Мен. (2012). Миграция населения из России в Китай: исторический опыт натурализации и сохранения самобытности (конец XVII - XX века). *Локус: люди, общество, культуры, смыслы*, 2, стр. 71-77.

Говердовская, Л.Ф. (2000). *Общественно-политическая и культурная деятельность русской эмиграции в Китае в 1917-1931 гг.* Москва: МАДИ.

Гончаренко, О.Г. (2009). *Русский Харбин*. Москва: Вече.

Грибин, С. (2008). «Харбинское пиво» – русские корни? Любителям пива и путешествий. *Школа жизни. ру*. Retrieved from <https://shkolazhizni.ru/meal/articles/13240>

Гутин, Ю.И. (2011). Русские в КНР. *Азия и Африка сегодня*, 10, стр. 50-56.

Забияко, А.А. & Забияко, А.П. & др. (2015). *Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронта*. Благовещенск: Амурский государственный университет.

Забияко, А.А. & Забияко, А.П. & др. (2016). Фольклор русскоязычной диаспоры Трёхречья как основа сохранения этничности. *Известия Иркутского Государственного университета*, 17, стр. 109-125.

Забияко, А.П. & Кобызов Р.А. & др. (2009). *Русские и китайцы: миграционные процессы на Дальнем Востоке*. Благовещенск: Амурский государственный университет.

Корчагина, О.А. (2016). Города-сады Дальнего Востока в начале XX века: Дальний, Порт-Артур, Харбин. *Актуальные проблемы теории и истории искусства*, 6, стр. 668-675.

Крадин, Н.П. (2001). *Харбин – русская Атлантида*. Хабаровск: Издатель Хворов А.Ю.

Крюков, М.В. & Малявин, В.В. & др. (1993). *Этническая история китайцев XIX – начале XX века*. Москва: Восточная литература.

Курто, О.И. (2011). Понятие «русские харбинцы» и его современное значение. *Этнографическое обозрение*, 1, стр. 131-145.

Лю, Лифэнь. (2016). Сопоставление семантических полей русских и китайских кулинарных глаголов «печь烤» и «парить蒸». *Филологические науки. Вопросы теории и практики*, 12-1 (66), стр. 116-121.

Монгуш, М.В. (2016). Русское культурное наследие в Синьцзяне. *Журнал Института наследия*, 2 (5), стр. 1-8.

Мяо, Хуэй. (2014). Особенность отражения китайской культуры в рассказах А. Хейдока. *Гуманитарный вектор*, 2 (38), стр. 133-142.

Мяо, Хуэй. (2015). Русская эмиграция в Харбине: взаимодействие двух культур. *Гуманитарный вектор*, 2 (42), стр. 128-135.

Оглезнева, Е.А. (2010). Российско-китайское взаимодействие на дальневосточных территориях России: историко-лингвистический очерк. *Слово: Фольклорно-диалектический альманах*, 8, стр. 6-25.

Романова, А.П. & Хлыщева, Е.В. & др. (2013). *Чужой и культурная безопасность*. Москва: РОССПЕН.

Ставров, И.В. (2016). Элосыцзу – осколок Русского мира в Китае (о положении русского этнического меньшинства в КНР). *Россия и АТР*, 4 (94), стр. 116-133.

Старосельская, Н.Д. (2006). *Повседневная жизнь «русского» Китая*. Москва: Молодая Гвардия.

Тарасов, А.П. (2016). Русская национальная волость Эньхэ в Барге: поиск русскими своей национальной идентичности в Приграничном Китае. *Проблемы Дальнего Востока*, 1, стр. 102-121.

Тен, Н.В. (2010). Представления современных китайцев о русском народе и его основных чертах. *Этнографическое обозрение*, 4, стр. 189-200.

Хаиндрова, Л.Ю. (2003). *Сердце поэта*. Калуга: Полиграф-Информ.

Хисамутдинов, А.А. (2013). Русские женщины в Китае (1922-1940-е гг.). *Проблемы Дальнего Востока*, 2013 г., 3. стр. 124-127.

Черкашина, С.А. (2001). Традиции серебряного века в культуре русской эмиграции в Китае. *Проблемы подготовки кадров для сферы искусства и культуры. Материал научной конференции*, стр. 57-62.

Шулунова, Е.К. (2014). Драматический театр Китая хуацзюй и русская театральная культура. *Благовещенский государственный педагогический университет*, стр. 431-434.

Эфендиева, Г.В. (2011). Проблема этнической идентификации поэтов-эмигрантов русского Харбина. *Русский язык за рубежом*, 1 (224), стр. 72-78.

Якушенков, С.Н. (2016). Культурные процессы в гетеротопных пространствах (на примере нижнего Поволжья). *Кочевые народы юга России: Исторический опыт и современность*, стр. 419-422.

Якушенков, С.Н. (2017). На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Часть 2. *Journal of Frontier Studies*, 1 (5), стр. 8-36.

Якушенков, С.Н. & Романова, А.П. & др. (2011). «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения», или протообразы тела Чужого в российском дискурсе. *Каспийский регион: политика, экономика, культура*, 1, стр. 189-195.

Якушенков, С.Н. & Якушенкова, О.С. (2012). Тело варвара: Конструирование образа Чужого на китайском фронтире. *Каспийский регион: политика, экономика, культура*, 4 (33), стр. 233-240.

Якушенков, С.Н. & Сун, Цзе. (2015). Культурная безопасность и факторы развития национальной алиментарной культуры. *Каспийский регион: политика, экономика, культура*, 4 (45), стр. 247-253.

Якушенков, С.Н. & Якушенкова, О.С. (2016). «Власть земли»: формирование новой инаковости в условиях фронта. *Journal of Frontier Studies*, 1, стр. 5-21.

Якушенкова, О.С. (2014). Образы сексуальности Чужого как фактор, маркирующий фронтирную гетеротопию. *Каспийский регион: политика, экономика, культура*, 2 (39), стр. 346-352.

RUSSIAN DIASPORA IN CHINA: VARIANT OF CULTURAL HYBRIDITY

Meshcheryakov A.Yu., Antropov O.K.

Antropov Oleg Konstantinovich, Astrakhan State University,
414056, Astrakhan, Russia, Tatischeva Str., 20a. E-mail: olegantropov1@gmail.com

Meshcheryakov Alexander Yurievich, Astrakhan State University,
414056, Astrakhan, Russia, Tatischeva Str., 20a. E-mail: daomesheryakov@gmail.com

The authors analyze the process of cultural hybridization in the Russian Diaspora of China. The process of cultural hybridization is a mix of cultures or an intersection, where the formation of new terms, properties, laws and other existential rules. This process of cultural hybridization in the history is seen by the authors in a variety of forms. Cultural hybridity occurs in such places where for a long time are racial, linguistic, religious and other cultural contacts. It is in the dialogue of cultures the cultural hybridity is born. Cultural dialogue with the Other/Stranger in the Chinese territory have contributed to the emergence of cultural hybridity. The Russian Diaspora in China was an ideal place to study cultural hybridity, due to its intersection of the Russian and Chinese cultures.

A special form of interethnic interaction of Russian and Chinese became the mixed Russian-Chinese marriage being "in-between" the two cultures. The result is an interracial, mixed, international marriages, there is a generation of mixed -race children – the carriers of a new culture. The cultural identity of immigrants on foreign soil in any case changed and become another identity – a hybrid identity. The process of cultural hybridization in the end led to the emergence of a number of new cultural properties, forms, and phenomena in the history of Russia and China. The article presents images of perception of hybrid space, broadcast in Russian culture bearers of this experience of cultural hybridity: Russian poets, artists, musicians, actors, etc.. . According to the authors, cultural hybridity in different places and periods of history, diverse and has unique specificity for a number of reasons

Key words: hybrid, cultural hybridity, cultural encounters, hybrid identity, hybrid space, Other/Alien, Russian diaspora, Russian immigration, Russia, China.

References

Barker, A.M. & Gheith, J.M. (2004). *A History of Women's Writing in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Burke, P. (2012). *A Case of Cultural Hybridity: the European Renaissance*. Germany: Max Planck Institute for Social Anthropology.

Burke, P. (2009). *Cultural Hybridity*. Cambridge: Polity Press.

Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. New York: Oxford University Press.

Shear, M. (2013). Strangers in a strange land: the Russian community in Xinjiang, and its interactions with the local peoples. *The Caspian region: politics, economy, culture*, 3 (36), стр. 292-298.

Sheldon, H. Lu. (2000). Soap Opera in China: The Transnational Politics of Visuality, Sexuality, and Masculinity. *Cinema Journal*, №40 (1), стр. 25-47.

Young, Robert J. C. (1995). *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*. London, New York: Routledge.

Aurilene, E.E. (2013). The fate of Russian emigre culture in China (1920-1940): a regional factor. *Problems of the Far East*, 3, pp. 128-136.

Go, Men. (2012). Migration of the population from Russia to China: the historical experience of naturalization and preservation of identity (the end of the XVII - XX century). *Locus: people, society, cultures, meanings*, 2, pp. 71-77.

Goverdovskaya, LF (2000). *The socio-political and cultural activities of Russian emigration in China in 1917-1931*. Moscow: MADI.

Goncharenko, O.G. (2009). *Russian Harbin*. Moscow: Veche.

Gribin, S. (2008). «Harbin beer» – Russian roots? Beer and travel lovers. *School of Life. ru*. Retrieved from <https://shkolazhizni.ru/meal/articles/13240>

Gutin, Yu.I. (2011). Russian in the PRC. *Asia and Africa today*, 10, pp. 50-56.

Zabiyako, A.A. & Zabiyako, A.P. & Others (2015). *Russian Harbin: experience of life-building in the conditions of the Far Eastern frontier*. Blagoveshchensk: Amur State University.

Zabiyako, A.A. & Zabiyako, A.P. & Quot; (2016). Folklore of the Russian-speaking diaspora of the Three Rivers as a basis for the preservation of ethnicity. *Proceedings of the Irkutsk State University*, 17, pp. 109-125.

Zabiyako, A.P. & Kobyzov RA & Etc. (2009). *Russian and Chinese: emigration processes in the Far East*. Blagoveshchensk: Amur State University.

Korchagin, O.A (2016). Cities-gardens of the Far East in the early XX century: Far, Port Arthur, Harbin. *Actual problems of theory and art history*, 6, pp. 668-675.

Kradin, N.P. (2001). *Harbin – Russian Atlantis*. Khabarovsk: Publisher Khvorov A.Yu.

Kryukov, M.V. & Malyavin, V.V. Et al. (1993). *Ethnic history of the Chinese XIX – early XX century*. Moscow: Eastern Literature.

Courto, O.I. (2011). The notion of «Russian Harbinians» and its modern meaning. *Ethnographic Review*, 1, pp. 131-145.

Lyu, Lifen. (2016). Comparing the semantic fields of the Russian and Chinese culinary verbs «to bake» and «to steam». *Philology. Peculiarities of theory and practice*, 12-1 (66), pp. 116-121.

Mongush, M.V. (2016). The Russian cultural heritage in Xinjiang. *Journal of the Institute of Heritage*, 2 (5), pp. 1-8.

Miao, Hui. (2014). Peculiarities of the Chinese Culture Reflection in A. Kheydok's Stories. *Humanitarian vector*, 2 (38), pp. 133-142.

Miao, Hui. (2015). Russian immigration in Harbin: interaction of two cultures. *Humanitarian vector*, 2 (42), pp. 128-135.

Oglezneva, E.A. (2010). Russian-Chinese interaction in the Far Eastern territories of Russia: historical and linguistic essay. *Word: Folklore-dialectical almanac*, 8, pp. 6-25.

Romanova, A.P. & Khlyshcheva, E.V. & Others (2013). *Alien and cultural security*. Moscow: ROSSPEN.

Stavrov, I.V. (2016). Elositszu – a fragment of the Russian world in China (on the situation of the Russian ethnic minority in China). *Russia and the Asia-Pacific Region*, 4 (94), pp. 116-133.

Staroselskaya, N.D. (2006). *The daily life of «Russian» China*. Moscow: The Young Guard.

Tarasov, A.P. (2016). Russian county Enhe in Barga: quest for national identity in near-border China. *Problems of the Far East*, 1, pp. 102-121.

Ten, N.V. (2010). Representations of the Chinese people of the time of the n people and its main features. *Ethnographic Review*, 4, pp. 189-200.

Khaindrova, L.Yu. (2003). *The heart of the poet*. Kaluga: Polygraph-Inform.

Hisamutdinov, A.A. (2013). Russian women in China (1922-1940). *Problems of the Far East*, 2013, 3. pp. 124-127.

Cherkashin, S.A. (2001). Traditions of the Silver Age in the culture of Russian emigration in China. *Problems of training for the arts and culture. Material of Scientific Confirmation*, pp. 57-62.

Shulunova, E.K. (2014). The drama theatre China Huaju and the Russians theatrical culture. *Blagoveshchensk State Pedagogical University*, pp. 431-434.

Efendieva, G.V. (2011). The problem of ethnic identification of poets-emigrants of Russian Harbin. *Russian language abroad*, 1 (224), pp. 72-78.

Yakushenkov, S.N. (2016). Cultural processes in heterotopic spaces (the example of the lower Volga region). *Nomadic peoples of the south of Russia: Historical experience and the present*, pp. 419-422.

Yakushenkov, S.N. (2017). Gloomy clouds cover the border – the stern land is enveloped in silence. Part 2. *Journal of Frontier Studies*, 1 (5), pp. 8-36.

Yakushenkov, S.N. & Romanova, A.P. & Others (2011). «I look in you like a mirror, before dizziness», or prototypes of the body of the Alien in Russian discourse. *The Caspian region: politics, economics, culture*, 1, pp. 189-195.

Yakushenkov, S.N. & Yakushenkova, O.S. (2012). The body of the barbarian: Designing the image of the Alien on the Chinese frontier. *The Caspian region: politics, economy, culture*, 4 (33), p. 233-240.

Yakushenkov, S.N. & Song, Jie. (2015). Cultural security and factors of development of national alimentary culture. *The Caspian region: politics, economics, culture*, 4 (45), pp. 247-253.

Yakushenkov, S.N. & Yakushenkova, O.S. (2016). «The power of the earth»: the formation of a new differentness in the conditions of the frontier. *Journal of Frontier Studies*, 1, pp. 5-21.

Yakushenkova, O.S. (2014). The images of the sexuality of the Alien as a factor of marks of frontier heterotopy. *The Caspian region: politics, economy, culture*, 2 (39), p. 346-352.

«АРАБСКИЙ ФАКТОР» В РАЗВИТИИ РИМСКО-ИРАНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Камышев К.Д.

Камышев Константин Дмитриевич, Межрегиональная общественная организация содействия детскому отдыху, 614070, Пермь, Бул. Гагарина 44 а. Эл. почта: robespewt@mail.ru

Статья посвящена влиянию на развитие римско-иранского пограничья такого этноконфессионального фактора как арабские племена и образованные ими буферные государства. Среди них рассматриваются такие политические образования как: Набатейское царство, Осроена, Пальмира, Харакена, Хатра. Рассмотрены особенности их взаимодействия с «великими державами» (Парфией, а затем державой Сасанидов с одной стороны и Римом, затем Византией с другой) и кочевой периферией. Рассматривается огромное влияние трансаравийских торговых путей, особенно «Пути Благовоний» в развитии арабского участка римско-иранского пограничья. Показано постепенное смещение остроты развития римско-иранского пограничья и смещение политической, религиозной, культурной активности на его прежнюю периферию - на Аравийский полуостров. Рассмотрено образование, расцвет и упадок таких клановых буферных пограничных государств как Лахмидов, Гассанидов и Киндидов. В статье описывается сложная борьба внешнеполитических группировок в Химьяре (Древнем Йемене), между проримскими (провизантийскими) и просасанидскими (проперсидскими) «торговыми партиями». Рассмотрены попытки различных внешнеполитических акторов региона взять под прямой контроль территории, населенные арабами, но безуспешно. И именно «арабский фактор», организованный в форме новой мировой религии ислама во главе с пророком Мухаммедом разрушил римско-иранское пограничье существовавшее до того в течение восьми веков.

Ключевые слова: римско-иранское пограничье, лимитрофное пространство, буферное государство, этноконфессиональный фактор, «Путь благовоний», арабы, доисламская Аравия, ранний ислам, Мухаммед.

Римско-иранское пограничье - одна из самых длительно существовавших приграничных территорий в мировой истории. Она просуществовала с I в. до н.э. по VII в. н.э. В его орбиту с течением времени втягивалось все большее количество государств, племен, народов. Но, римско-иранское пограничье, в свою очередь, не являлось исключительно буферным пространством между двумя «Великими державами» Древнего мира и Раннего Средневековья (последовательно сменявшимися Античными государствами: Римской республикой, Империей и Византией; в противовес Иранским государствам: Парфии Аршакидов и Персидской империи Сасанидов). Помимо чисто политического пространства в римско-иранском пограничье складывалось сложное культурное, этническое и конфессиональное пространство.

Арабский фактор, как частный вариант этноконфессионального, в развитии римско-иранского пограничья отчетливо начинает проявляться еще с момента его формирования. Арабы первоначально располагались в центральной части Аравийского полуострова. Начиная с IV в. до н.э. начинается миграция арабских племен в области Сиро-Палестинского и Месопотамского регионов. Часть, которую контролировал Рим, называлась Arabia Petrae, зависимая от Парфии - Arabia Deserta. Но была и Arabia Felix «Счастливая Аравия», независимая зона между двумя великими державами. К ней относились, например, Хатра, Пальмира и Эдесса (Руссо, 2015). Таким образом, необходимо констатировать, что арабы предоставляли собой органическую часть римско-иранского пограничья, играя роли буферного, лимитрофного пространства.

На территории современного Синайского полуострова, Заиорданья, Восточной Сирии, западной и северной части Месопотамии арабы закрепляются на рубеже II-I вв. до н.э., они постепенно меняют этнический ландшафт на территории римско-иранского пограничья. Еще в III в. до н.э. образовалось арабское государство Набатейское царство. Ими основываются также ряд арабских государств: Осроена, Пальмира, Хатра, Харакена и др. На данном этапе развития арабы не осознавали своего этнического единства, были разобщены племенными и династическими противоречиями.

Первым арабским государством в римско-иранском пограничье является Набатейское царство - наследственная монархия, которая ведёт отсчёт с воцарения Ареты I в 169 г. до н. э. Набатейское царство соперничало с хасмонейской Иудеей, во время правления Ареты III в 84 г. до н. э. подчинило Дамаск и часть Сирии. В течение римской экспансии в I в. до н. э. — I в. н. э. Набатей сумела сохранить независимость и союзнические отношения с Римом — так, набатейские войска выступали в качестве союзников Рима при осаде Титом Иерусалима. Причем, по предположению Тейлора они получили разрешение на участие в подавлении Иудейского восстания также и от парфянских правителей Ирана из династии Аршакидов (2001, р. 73.).

Краеугольным камнем процветания этой земли была посредническая торговля между странами Дальнего Востока - Индией, Индокитаем, Китаем и набирающей силу «сверхдержавой» Запада - Римской Республикой (позднее - Империей). Набатей брали *portarium* в размере 25%.

Постепенно усиливалось римское влияние в этом царстве. Основным мотивом увеличения присутствия римлян в Набатей был экономический. Так, в 26 г. до н.э. римляне стремились поставить под контроль «путь Благовоний». Август направляет свою префекта Египта Элия Галла в военную экспедицию в Южную Аравию. В помощь римской

экспедиции Набатейский царь Ободат II выделил отряд во главе с «братом царя» Силлая, который должен был выступать в роли проводника. Римско-набатейские войска добрались до Мариба, однако нехватка воды побудила Элия Галла прервать осаду и возвратиться в Египет. Не исключено, что неудача похода, сопряженного с большими трудностями, объясняется в немалой степени скрытым противодействием Силлая, не заинтересованного в его успехе (Шифман И.Ш., 2007, стр. 33-34).

Иосиф Флавий, описывая геополитический интерес римлян к Аравийскому региону, сообщает, что под власть Ирода были переданы Августом Трахоней, Батаней, Ауранитида, несколько позже - и другие области на правом берегу Иордана (Fl. Jos., Ant. Jud., XV, 344-360; Bel. Jud., I, 398-400; Ant. Jud., XVI, 271; XVII, 319; Bel. Jud., II, 95.). Этот шаг был вызван заботой о безопасности приграничных районов Сирии, ибо правивший в Заиорданье Зенодор покровительствовал разбойникам и кочевникам, совершавшим набеги на районы, прилегающие к Дамаску. По некоторым сведениям он мог быть арабом по своему происхождению и не исключена дальняя родственная связь с набатеями.

В Набатеи в связи со смертью предыдущего царя Ободата II борьбы за трон, в котором надо было вмешиваться Августу. Правление на короткое время было узурпировано Силлаем, совершившего многочисленные убийства среди местной арабской аристократии. За это он был обезглавлен (Шифман И. Ш., 2007, стр. 34). И трон получил Арета IV (9 г. до н.э. - 40 г. н.э.), причем все это было проведено без согласования с Августом. Данный правитель пытался проводить относительно независимую политику, но не переходил на прямые конфронтации с римлянами.

После активизации морского пути из Египта в Индию в сер. I в. н.э., набатеи утратили монополию на посредническую торговлю с Востоком через Южную Аравию. Постоянные военные конфликты с арабами-кочевниками (самудейцы и сафатенцы), а также с иудеями привели страну к упадку.

В 106 г. Траян после смерти Раббэля II присоединил Набатею к Риму, образовав на её территории провинцию Аравия Петрейская. Центр провинции был перемещен в Босру, которая становилась одним из главнейших караванных центров в римско-иранском пограничье и на ее территории сходились «Путь Благовоний» и самая южная ветвь «Великого шелкового пути». Безусловно, другим важным моментом был военно-политический, Траян готовился к парфянскому походу и вынужден был обезопасить свои сирийские коммуникации.

Осроена - было историческое сирязычное царство, расположенное в Месопотамии, которая обладала независимостью или автономией в составе иранских государств (Парфии и империи Сасанидов) с 132 г. до н.э.

по 244 г. н.э. Осроена, область на северо-западе Месопотамии между реками Евфратом на западе и Хабором на востоке и Арменией на севере, играла важную стратегическую роль форпоста римлян в их политике сначала против парфян, а затем персов. Главный город Осроены, Эдесса (совр. Урфа), был построен, скорее всего, Селевком I Никатором (312—281). При Антиохе IV (175—164) Эдесса была переименована в Антиохию, а после его смерти попала в зависимость от парфян. В 132 г. до н. э. было основано самостоятельное Эдесское царство; в 127 г. до н. э. оно перешло под власть арабской династии Абгара и Ма'ну. Армянский царь Тигран II Великий (95—55), захватив страны Азии, передал Осроену кочевому арабскому племени, переселенному им сюда из южной Месопотамии (Plin. N. N., 5, 20, 85, 21, 86, 6, 28, 142).

Осроена находилась на важнейшем участке пересечения торговых путей. Контролировал переправы на Евфрате и армяно-малоазиатский путь. «Осроенские арабы», были теми арабами с горы Аман, которых покорил в 65 г. до н. э. легат Помпея Луций Афраний, командовавший римскими войсками в Армении (Plut. Rompr., 39). Абгар был принят в число «друзей и союзников римского народа», но в 55 г. до н.э. именно он сменил свою политическую ориентацию на пропарфянскую, что в конечном итоге, погубило римскую армию Красса. В дальнейшем арабские правители Осроены продолжали лавировать между Парфией и Римом, в конечном счете, всегда предавая римлян. Так, например, в 36 г. н. э. осроенцы участвовали в конфликте между парфянским царем Артабаном II (10—38) и претендентом на престол Тиридатом, поддержанным Тиберием (Tas. Ann., VI, 32). Во время отступления Тиридата из Селевкии через Месопотамию в Сирию, осроенские арабы первыми покинули римского ставленника (Tas. Ann., VI, 44), что привело к его поражению (Абрамзон М. Г., 2006, Стр. 113).

В период правления Траяна, приблизительно 116 г. н. э., римский полководец Луций Квинт подчинил Эдессу и положил конец независимости Осроены. После войны с парфянам, при Марке Аврелии, были построены форты, и римский гарнизон был размещен в Нисибисе. Осроена попытался отбросить римское владычество, однако в 216, его король Абгар IX был заключен в тюрьму и сослан в Рим, и территория его царства была превращена в римскую провинцию. В период от завоевания Траяна до 216, Христианство начало распространяться в Эдессе. Абгар IX (179-186 н. э.) был первым христианским царем Осроены.

В нижней Месопотамии во II в. до н. э. возникает государство Харакена со столицей в Спасину Хараксе. Харакена подчиняет себе часть Месопотамии (вплоть до слияния рукава Евфрата с Тигром) и эллинские города по западному берегу Персидского залива, а также некоторые арабские племена. Одно время Харакена владела даже Вавилоном (по

одному из предположений и Селевкией на Тигре). Тем не менее, Харакена довольно скоро попадает в зависимость от Парфии. Почти с самого начала Спасину Харакс превращается в крупный центр торговли с Южной Аравией и Индией. В город собираются купцы со всего Ближнего Востока. Сами имена царей Харакены показывают смешение самых различных языков и культов — отчётливо прослеживаются вавилонские, персидские, эламские, арабские и эллинистические элементы. Царство было образовано примерно в 130 году до н. э. и просуществовало до завоевания региона империей Сасанидов в 222 году н. э. Харакена был альтернативно известна как Месена и Мешан и под этим названием стало частью империи Сасанидов (Bennett D. Hill, Roger B. Beck, Clare Haru Crowston, 2008, p. 165.).

Хатра - древний город-государство в составе Парфянского царства. Арабские племена поселились в этом месте в VII веке до н. э. Предположительно, город Хатра был образован в III в. до н. э. в составе государства Селевкидов. В следующем столетии, уже будучи столицей полуавтономного арабского государства в составе Парфянского царства, Хатра достигла пика своего развития за счёт расположения на перекрестке важных торговых путей. В Хатре, как и в других поселениях, арабы смешивались с местными жителями, говорившими по-арамейски, в окрестностях оставались кочевые арабские племена. Позднее население города стало еще более смешанным, включив и парфян, и греков, а в III веке и римлян (Руссо М., 2015). В 241 году Хатра пала в результате осады, устроенной персидским правителем Шапуром I из династии Сасанидов. Вскоре город был разрушен.

Небольшое арабское городское государственное образование - Пальмира. Со 165 г. В ней был установлен римский контроль. В опорных пунктах Пальмиры располагались регулярные войска, где организовывались военные центры по римскому образцу. Благодаря существованию таких опорных пунктов, а так же полуофициальной пустынной полиции Пальмира оказалась способной неожиданно подняться до уровня военной независимости 250-270 гг. Правитель Пальмиры Оденат (Узайнат), в 260 г. Провозгласивший себя царем царей, разбил персов в 265 г. н.э. и это сподвигло его вдову Зенобию на присоединение, неконтролируемых центральной властью, восточных провинций Римской империи (Египет, Сирия, Палестина, Малую Азию). При этом следует заметить, что это выступление было направленно не только против римских властей; нападению подвергались и арабские племена-соседи (танух), проявившиеся в тот момент как обобщенные враги Пальмиры (Надиров И. И., 2009, Стр.64). В 270 - 273 гг. н.э. римский император Аврелиан присоединил отколовшиеся от Рима провинции и разрушил Пальмиру. Зенобия, пытавшаяся бежать к Сасанидам, была поймана и

проведена в триумфе. Данное политическое образование сочетало в себе восточные традиции (в том числе и иранские), эллинистические и даже римские элементы, поскольку это предмет отдельного исследования.

Кроме созданных арабами буферных государств, во всех сторонах жизни восточных регионов Сирии и сирийского региона, в том числе и в хозяйственной, заметную роль играли кочевые арабские племена. Регулярное сезонное присутствие на территории провинций значительных групп кочевников со своими стадами всегда требовало решения большого количества проблем экономического и административного характера уже хотя бы потому, что за исключением земель абсолютно непригодных для сельскохозяйственных нужд, вся территория провинции имела конкретного хозяина - администрацию того или иного города. Иными словами, нахождение на такой территории любых «инородных» групп людей требовало, какой-то регламентации этих отношений. Для ближневосточной границы мы почти не располагаем прямыми подтверждениями этого регламентации. Однако здесь уместно привлечение параллельного материала ввиду того, что взаимоотношения римской администрации с аравийскими кочевниками это лишь одно из проявлений взаимоотношений Рима с приграничными народами в целом (Грушевой А. Г., 2007, Стр. 337.).

Кочевые и оседлые арабские племена сохраняли между собой связь, в арабских государствах сосуществовали длительное время оба уклада жизни. Периодически данное сосуществование и соседство с ближневосточными государствами и Ираном, с одной стороны и Римской (Византийской) империей, приводило к формированию крупных полукочевых арабских политических образований.

Так, в IV в. до н.э. образовалось два крупных полукочевых государственных образования: государство Лахмидов и государство Гассанидов. В силу геополитических факторов Гассаниды были обречены поддерживать Рим, также как Лахмиды - Иран. А тоже время следует отметить, что в ряде случаев арабы отклонялись от своей «генеральной» внешнеполитической линии, чем заслужили славу ненадежных и даже опасных союзников (Дмитриев В. А., 2008, Стр. 31). По свидетельству Феофилакта Симокатта: «Ведь племя сарацин - самое неверное, готовое служить то одному, то другому, умом грубое и в отношении честности и благоразумия совершенно ненадежное» (Theophyl. IV. 17.7).

Лахмиды—царская династия арабского происхождения, утвердившаяся в северо-восточной части Аравийского полуострова и управлявшая этой территорией с 380 по 602 гг. Столица данного царства -город Аль-Хира в нижнем течении Евфрате (где за два столетия до их прихода располагалась Харакена). По предположениям историков Лахмиды имели йеменское происхождение и обитали на берегах Евфрата

со II века (Шумов С.А, Андреев А.Р., 2002, Стр. 27.). Арабские правители пользовались сасанидскими арсеналами в Укбаре и Анбаре. Около 400 г. Лахмидам удалось подчинить себе большую часть Аравии. Главным врагом Лахмидов оставались Гасаниды, а также Кандиды. В 602 г. Сасаниды избавились от этих правителей, а в 611 г. царство упраздняется персами. По мнению исследователей, уничтожение царства помогло халифату быстрее распространить свое влияние на территориях Персидской империи Сасанидов.

Государство Гасанидов было расположено на границе Сирийской пустыни в таких регионах как Восточная Палестина, Заиорданье и Южная Сирия, где римские (византийские) правители издревле стремились селить своих арабских союзников. До утверждения племени Гасани в этом регионе господствующее положение здесь занимало южноаравийское по происхождению племя танухи, откочевавшее из Химьяра и занявшие эту территорию после падения Пальмирского царства. Потом их сменили салихиды. По словам Масуди, «они проникли в Сирию, обратились в христианство и были воцарены ромеями над арабами в Сирии» (цит. по Пигулевская Н. В., 1964, Стр. 180.). Их владычество продолжалось больше столетия и закончилось с приходом племени гасан. Свое имя оно получило от некоего колодца в Сирии, у которого пришельцы осели с разрешения салихидов. Но потом Гасаниды отказались платить возложенную на них подать, начали с Салихидами войну и покорили их. Произошло это, видимо, в конце V в. Византии ничего не оставалось, как официально признать происшедшую перемену. В 529 г. император Юстиниан объявил Гасанида аль-Хариса ибн Джабала верховным правителем Сирии и Палестины и пожаловал ему титул патрикия. Весь VI в. Гасаниды в борьбе с Лахмидами пытались утвердиться в северной и центральной Аравии. Но ощутив успехи, Гасаниды начали проявлять излишнюю самостоятельность по отношению к Византии.

Царство было ликвидировано Византией в 585 г. Однако и позже отдельные представители этого рода управляли некоторыми оазисами и владели укрепленными замками в Заиорданье. Позже, в 629 г., когда явно обнаружилась арабо-исламская угроза, царство Гасанидов было официально восстановлено императором Ираклием. Персидские источники VII в. сообщают о принадлежавшем к роду Гасанидов Джабале, который выступал как царь всех ромейских (провизантийски настроенный) арабов. Он участвовал в сражении при Ярмуке 626 г. на стороне византийцев, временно перешел на сторону мусульман. Но в дальнейшем, вместе с другими арабами-христианами переселился в пределы Византии (Сычев Н.В, 2008. Стр. 770).

Еще одним крупным арабским племенным образованием в римско-иранском пограничье был Кинд. С территориальной точки зрения

Киндское царство являлось обширнейшим из арабских государств своего времени. Оно простиралось от южной части Аравийского полуострова, имело выход к Персидскому заливу, Была подчинена практически вся Центральная Аравия, часть Северной и достигало границ восточных провинций Римской (Византийской) империи. В это государство входили часть Неджда, северо-западная часть Аравии, включая прибрежную зону Красного моря, часть Синая, залив Акаба, небольшая часть Месопотамии и Палестины.

Племена Кинда происходили из Южной Аравии. В Йемене оно занимало восточную его часть, с центром в городе Даммун. В дальнейшем кинда переселилось в Центральную Аравию и вытеснило оттуда племена маад. Новой столицей их царства стал город Гамр в юго-западной части Неджда, который расположен в двух днях пути от Мекки. Само их переселение, по всей видимости, произошло в первой трети IV в. и в свою очередь было связано с торговыми конфликтами. Наивысшего могущества царство Киндидов достигло в начале VI в. при царе Харисе, который знаменит тем, что в 502 г. захватил Хирту - столицу восточноарабского царства Лахмидов. Вскоре, опираясь помощь от иранского шахиншаха из династии Сасанидов, Лахмиды возвратили свои владения. В 528 г. царь Лахмидов Мунзир III нанес Киндидам тяжелое поражение. Царь Харис при этом погиб. Его сын Худжр вел упорную войну с племенем Асад, также закончившуюся поражением. Этому способствовала междоусобная война его братьев - Шурахбила и Саламы. В период между 540 и 547 г. царство Киндидов совершенно распалось, и вскоре было завоевано царством Лахмидов (Рыжов К., 2001, Стр. 142.).

Арабские кочевые племена, одомашнившие верблюдов, могли эффективно преодолевать аравийскую пустыню и контролировать южноаравийские торговые пути («Путь Благовоний»), также особенно в период обострений римско-иранских отношений, одну из веток «Великого шелкового пути» через пустыни Северной Аравии в оканчивающуюся в Босре (Набатейское царство). Как, Рим и его союзники, так и иранские государства (Парфия и держава Сасанидов) стремились поставить под контроль Торговые пути, проходящие по Аравийскому полуострову.

Об этой же тенденции свидетельствует ожесточенная борьба между различными группировками химьярской знати в IV-VI вв., связанные торговыми интересами соответственно с Римской (Византийской) или Сасанидской империями. Утвердятся на аравийских торговых путях в Хиджазе стремились не только ведущие державы региона и их ставленники, но и эфиопские правители, имевшие союзнические отношения с Византией.

Борьба между местными торговыми кланами вылилась в гражданскую войну с вмешательством великих держав. Местные кланы в

религиозно-идеологическом плане делились на христианские, иудейские и языческие. Их идеологическая ориентация была связана с торговыми связями: христиане были связаны преимущественно с Аксумом и Римской (Византийской) империей, иудеи - с Ираном (Сасанидами). Царь Масрук Зу Нувас в 515 г., свергнувший и убивший Мадикариба Зу Шанатира, аксумского ставленника, принял иудаизм. Зу Нувас начал свое правление с уничтожения проходивших через Химьяр в Эфиопию ромейских купцов и вообще перекрыл торговлю Аксума с Римом (Византией). Убытки для этих двух союзных стран носили колоссальный характер, экономика же Химьяра не слишком пострадала: наоборот, у персов и иудеев не стало ромейских конкурентов. Аксумский царь вторгся в Химьяр, сверг Зу Нуваса и оставил свой гарнизон в Южной Аравии, заручившись поддержкой Римской империи (Византии). Вокруг Зу Нуваса объединились не только иудейские, но и языческие торговые кланы. Совместными усилиями в 522 г. они разгромили аксумский гарнизон и поддерживающих его христиан. Христианские погромы прокатились по всей стране. Зу Нувас отправил послание в Хирту, находившуюся под иранским протекторатом, с просьбой к царю Мундару уничтожить всех христиан на его территории, обещая дать ему «вес трёх тысяч денариев». Римской империи (Византии) удалось переманить Мундару на свою сторону (не смотря на противодействие посланного в поддержку Химьяра из Ирана несторианского епископа Сила). В 525 г. объединенное римско-эфиопское войско вторглось в Химьяр и свергло Зу Нуваса, при чем византийцы выделяли для операции флот, а сухопутные силы принадлежали эфиопам. На престол был посажен царь-христианин Сумайфа Ашва. А затем Химьяр вошел в состав Аксума в качестве отдельного наместничества.

В 570 г. наместник эфиопского царя Абрахи аль-Ашрама аль-Хабашии, которому после многочисленных интриг удалось стать независимым правителем Химьяра, построил в Сане церковь (есть версия, что новая церковь была построена в Наджране). Предполагалось создание нового религиозного центра паломничества для арабов, однако более вероятной причиной являлась ликвидация торговых конкурентов на «Пути Благовоний» или постановка их под свой контроль. Для решения этой задачи необходимо было разрушить или поставить под свой контроль Мекку - другой крупнейший паломнический центр для арабов.

С другой стороны, М.Б. Пиотровский утверждал, что поход Абрахи на Мекку был частью более грандиозного предприятия: «По существу речь идет не просто о рейде на Мекку, а о большом аравийском походе, в ходе которого были и покорение кочевых племен и попытка создать вассальное царство мударитов или хас'амитов, и переговоры с жителями Таифа, возможно, даже осада города, были и переговоры с хиджазскими

кочевниками. Мекка, весьма вероятно, была лишь эпизодом...» (Пиотровский М. Б., 1984, С. 31-32.). Он также утверждает, основываясь на Прокопий Кесарийском, что Абрахи планировал провести персидский поход (который предвосхищал поход на Мекку) но не претворил его в жизнь.

В короткие сроки было собрано большое войско, укомплектованное несколькими боевыми слонами. Войско Абрахи состояло из эфиопов, химйаритов и некоторых аравийских племен. Но этот поход закончился провалом из-за многочисленных трудностей, которые они встретили со стороны йеменских и хиджазских племен, и из-за эпидемии охватившей войско. Он вернулся в свою страну, потеряв большую часть своей армии и не достигнув своей цели.

После похода на Мекку эфиопского царя (этот поход упоминается в Коране в суре Слон) в 570 г. и чудесного спасения мекканцев на протяжении длительного времени центральная Аравия была предоставлена сама себе. В этих условиях складывалась ситуация вакуума в обширной зоне периферии римско-иранского пограничья, что постепенно способствовало складыванию самостоятельного «центра силы».

В 570 г. в Мекке в роду Хашим племени Курайш родился Мухаммед. В шестилетнем возрасте, он, остался круглым сиротой, сначала воспитывался в доме своего деда, а после его смерти сироту приютил дядя. Повзрослев Мухаммед стал купцом и занимался караванной торговлей. Около 600 г. курейшиты приняли решение реставрировать общеарабскую святыню Каабу. Мухаммед тоже активно участвовал в этом мероприятии.

Считается, что в 610 г. Мухаммед впервые провел проповедь, произнес аяты (стихи) Корана. Он призвал единоплеменников отказаться от многобожия и перейти (вернуться) к монотеизму, к вере Ибрахима (Авраама) и Мусы (Моисея), и Исы (Иисуса), читать молитвы, раздавать милостыню нуждающимся и поститься, кормить сирот, быть справедливыми, не обвешивать при торговых сделках. В 621 г. Мухаммед совершает хиджру (хиджра по-арабски означает переселение, связанное с разрывом связей человека с тем обществом, которое он покидает) в богатый оазис Ясриб (переименованный в Медину). Вскоре Мухаммеду удалось прекратить конфликты в Медине, а в 623 г. начала войны против мекканцев, которые продолжали притеснения мусульман, оставшихся в Мекке. Только к 630 г. Мухаммед занял Мекку. К этому времени значительная часть Аравии была под контролем мусульман. К 632 году Ислам приняли практически все арабские племена. В этом году скончался и сам Мухаммед.

Таким образом, в результате синтеза иудаизма, христианства и местных арабских верований формировалась новая мировая религия

ислам. Такой синтез был возможен лишь на периферии римско-иранского пограничья, где концентрировались наиболее маргинальные этноконфессиональные элементы и взаимодействие было наиболее широким и свободным. Не случайно появление такой личности как Мухаммед именно под влиянием римско-иранского пограничья. Инициативность, гибкость мышления, способность к риску и самоорганизации особенно ярко проявились именно в этот период и на этой территории в силу того, что она превратилась в пограничье.

Об этом же писала крупнейший исследователь доисламской Аравии Н. В. Пигулевская: «Волна движения арабов на север в VII в. принесла им победу, чему способствовало истощение сил великих держав, длительно сражавшихся друг с другом. Свежие силы арабов были объединены надплеменными организациями, новой идеологией, которая открывала новые возможности, разбудившие силы, таившиеся в арабском народе» (Пигулевская Н. В., 1964, Стр. 3.).

Условным событием, ознаменовавшим конец римско-иранского пограничья является битва при Ярмуке 636 г. Что примечательно, часть прежде союзных персам народов и племен выступили на стороне Византии, кроме того в составе византийской армии, фиксируется присутствие сасанидской катафрактарной кавалерии. То есть для противостояния арабо-мусульманской опасности объединились все силы римско-иранского пограничья. Данное сражение закончилось поражением превосходящих по численности византийцев от арабо-мусульманского войска. Таким образом, именно арабский фактор сыграл решающую роль в ликвидации римско-иранского пограничья и его исчезновения с исторической сцены.

Список литературы:

- Bennett, D. & Hill, R. B. (2008). *Clare Haru Crowston. A History of World Societies, Combined Volume 1*. Publisher: Bedford/St. Martin's,
- Taylor, J. (2001) *Petra And the Lost Kingdom of the Nabataeans*. I. B. Tauris.
- Абрамзон, М. Г. (2006). Осроена в римской восточной политике в I в. до н. э. — III в. н.э. «Проблемы истории, филологии, культуры». XV. М.: Магнитогорск-Новосибирск.
- Грушевой, А.Г. (2007). Принципы взаимоотношений Рима и ранней Византии с аравийскими кочевниками. *МНЕМОН Исследования и публикации по истории античного мира*. Выпуск 6. 337-366

- Дмитриев, В.А. (2008). *Всадники в сверкающей броне. Военное дело Сасанидского Ирана и история римско-персидских войн.* СПб.: Петербургское Востоковедение
- Иосиф, Флавий (1991). *Иудейская война.* Минск: Беларусь,.
- Иосиф, Флавий (1994). *Иудейские древности: в 2 т.* М.: Крон-Пресс (Академия),
- Надиров, И. И. (2009). *Хатра. Арабы между Парфией и Римом.* СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»
- Пигулевская, Н. В. (1964). *Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв.* М.– Л.
- Пиотровский, М. Б. (1984). Поход слона на Мекку (Коран и историческая действительность). *Ислам: религия, общество, государство.* М: Наука, 28-35.
- Плиний Старший. (2008). *Естественная история.* М.: Директмедиа Паблишинг.
- Плутарх (1994). *Сравнительные жизнеописания: в 2 т.* М.: Наука. Т. 2.
- Руссо, М. (2015). *Хатра – погибший город солнца.* Получено из http://polit.ru/article/2015/03/09/ps_hatra/
- Рыжов, К. (2001). *Все монархи мира. Древний Восток.* М.: «Вече».
- Сычев, Н.В. (2008). *Книга династий.* М.
- Тацит (1993). *Сочинения: в 2 т. Т. 1. Анналы. Малые произведения.* М.: Ладомир.
- Феофилакт Симокатта (1957). *История.* М.
- Шифман, И. Ш. (2007) *Набатейское государство и его культура. Из истории доисламской Аравии.* СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та.
- Шумов. С.А & Андреев, А.Р. (2002) *Ирак: история, народ, культура: Документальное историческое исследование.* М.: Монолит-Евролинц-Традиция.

«THE ARAB FACTOR» IN DEVELOPMENT OF THE ROMAN-IRANIAN BORDERLAND

Kamyshev K.D.

Kamyshev Konstantin Dmitrievich, Interregional Public Organization for the Promotion of Child Rest, 614070, Perm, Bul. Gagarin 44 a. E-Mail: robespewr@mail.ru

The article is devoted to the influence on the development of the Roman-Iranian borderland of such an ethnoconfessional factor as the Arab tribes and the buffer states formed by them. Among them are considered such political formations as: Nabataean kingdom, Osroena, Palmira, Characene, Hatra. The features of their interaction with the "great powers"

(Parthia, and then the Sasanid Empire on the one hand and Rome, then Byzantium on the other) and the nomadic periphery are considered. Considered is the enormous influence of the Trans-Arab trade routes, especially the "The Incense trade route" in the development of the Arab sector of the Roman-Iranian borderland. The gradual shift in the sharpness of the development of the Roman-Iranian borderland and the shift of political, religious, and cultural activity to its former periphery, to the Arabian Peninsula, is shown. The formation, flowering and decline of such clan buffer frontier states as Lakhmids, Ghassanids and Kindahes. The article describes the complex struggle of foreign policy groups in Ḥimyar (Ancient Yemen), between the pro-Romanian (pro-Byzantine) and pro-Sasanid (pro-Persian) "trade parties". Attempts by various foreign policy actors of the region to take under direct control the territories inhabited by the Arabs, but without success. The "Arab factor", organized in the form of a new world religion of Islam led by the Prophet Muhammad, that destroyed the Roman-Iranian borderland that had existed for eight centuries before.

Keywords: Roman-Iranian borderlands, limitrophe space, buffer state, ethnoconfessional factor, "The Incense trade route", arabs, Pre-Islamic Arabia, Early Islam, Muhammad.

References

- Bennett, D. & Hill, R. B. (2008). *Clare Haru Crowston. A History of World Societies, Combined Volume 1*. Publisher: Bedford/St. Martin's,
- Taylor, J. (2001). *Petra And the Lost Kingdom of the Nabataeans*. I. B. Tauris.
- Abramzon, M.G. (2006). Osroena in the Roman Eastern policy in the I century. BC. - III century. AD. «*Problems of History, Philology, Culture*». XV. M. - Magnitogorsk-Novosibirsk, 111—119.
- Grusheva, A.G. (2007). Principles of the relationship between Rome and early Byzantium with the Arabian nomads // *MNEMON Studies and publications on the history of the ancient world*. Release 6. 337-366
- Dmitriyev, V.A. (2008). *Riders in the sparkling armor. Military affairs of Sasanian Iran and the history of the Roman-Persian wars*. SPb.: Petersburg Oriental Studies.
- Josephus Flavius (1991). *The Jewish War*. Ya.L. Chertka. Minsk: Belarus.
- Josephus Flavius (1994). *Jewish antiquities: in 2 tons per. Genkel*. Moscow: Kron-Press (Academy).
- Nadirov, I.I. (2009). *Khatra. Arabs between Parthia and Rome*. St. Petersburg: Information Center «Humanitarian Academy».
- Pigulevskaya, N.V. (1964) *Arabs at the borders of Byzantium and Iran in the 4th-6th centuries*. M.-L.
- Piotrovsky, M. B. (1984) A campaign of an elephant to Mecca (The Koran and historical reality). *Islam: religion, society, state*. M: Science, 28-35.
- Pliny the Elder (2008). *Natural history*. M.: Directmedia Publishing.

- Plutarch (1994). *Comparative biographies: in 2 t.* - M.: Science, V. 2.
- Russo, M. (2015) *Hatra is the died city of the sun*. Retrieved from: http://polit.ru/article/2015/03/09/ps_hatra/
- Ryzhov, K. (2001). *All the monarchs of the world. The Ancient East*. M., «Veche».
- Sychev, N.V. (2008). *Book of dynasties*. M.
- Tacitus (1993). *Compositions: 2 t. V. 1. Annals. Small works*. Moscow: Ladomir.
- Feofilakt Simokatta (1957). *History*. M.
- Shiffman, I. Sh. (2007). *Nabataean state and its culture. From history of pre-Islamic Arabia*. SPb.: Publishing house S.-Peterb. un-ty.
- Shumov, S.A. & Andreev, A.R. (2002). *Iraq: history, people, culture: Documentary historical research*. Moscow: Monolith-Eurolintz-Tradition.

IMAGINING AND INVENTING SYRIA: ALAWITES AS FRONTIER CASE OF
GENESIS OF THE NATION IN THE ARABIC WORLD

Kyrchanoff M.W.

Maksym W. Kyrchanoff, Voronezh State University, Voronezh Russia, 394000, Pushkinskaia 16
E-mail: maksymkyrchanoff@gmail.com

The author analyses transformations of the Alawite community in the contexts of the development of nationalism and its main political derivatives, including the “nation” and the “nation-state”. This article represents a revisionist attempt to transplant Western principles and methods of Nationalism Studies into Oriental non-European contexts. The author, on the one hand, uses the approaches proposed for the analysis of the genesis of capitalism and fascism and, on the other hand, he transplants them into Oriental political contexts. The author presumes that the Western theoretical approaches to Nationalism Studies are applicable to the analysis of Alawite history. It is presumed that the Alawites in contrast to other Syrian Arabs came closer to the understanding of themselves as the imagined community and invented tradition. The Alawites became a political nation in spite of themselves. The objective historical preconditions for the transformation of this community in a nation were absent or were minimal. The external negative factors, including the non-recognition of Alawites by other Muslims, stimulated social and economic transformations, accelerated the modernisation of this community, inspired its consolidation and assisted to the development of the authoritarian political regime of the al-Assad’s dynasty. The Alawites actualized intellectual tactics and strategies that allowed them to “remember” the nation in contrast to other Syrian Arabs who preferred to “forget” the nation because the values and principles of the Ummah had universal significance and were more attractive to them.

Keywords: Syria, Alawites, nation, nation-state, nationalism, imagined communities, the invention of traditions

As I was on my way from Paris to Antioch I entered in my journal a sentence in French whose translation was: “Am I resurrecting a nation or am I creating phantoms ... Am I to be a prophet or an artist?”
Zaki al-Arsuzi (Watenpugh, 1996)

Formulation of the problem. The concepts of “nationalism”, “nation” and “nation-state” became the central political definitions from the end of the 18th century that radically and decisively influenced the processes of social, economic and cultural developments of Western countries, defined the main vectors and trajectories of changes and transformations of political institutions and forms of statehood. These definitions became central in the political dictionaries of the West and penetrated into the political languages of the Orient in the 20th century. European colonialism as a form of political and economic domination of the West was the first stimulus for the modernisation of non-Western in general and Oriental

societies in particular. Non-European political elites chose modernisation, which was a Western political invented tradition; they transplanted Western and European political, social and economic institutions, norms and relationships into numerous heterogeneous Oriental contexts. Nationalism, nation and nation-state were within those invented traditions that the West could propose to the Orient and non-Western elites demonstrated the stable political will in their attempts to accept them when local non-European political, social and economic institutions, norms and relationships also actualized their stability and ability to resist Western values. The attempts to transplant Western political experience could have a formal and decorative character only in these numerous situations of the forced contacts and coexistence of Orient and Occident. Therefore, the destinies of the nation as a Western concept and attempts to imagine and invent new nations for the new states of the Oriental world were extremely diverse and contradictory.

What is this article about? The author will try to analyse several regional tactics, practices and strategies of the imagination and invention of nations in the Arab states. The author believes that the two strategies had universal nature. On the one hand, Arab intellectuals could be inspired by Western political and social experience. They sought to use European political tactics and strategies and transplant them into local Arab heterogeneous contexts. On the other hand, the political experience of some countries demonstrates the unwillingness to accept Western forms and methods of political imagination and the absence of positive and successful results in the attempts of local elites to transplant non-Arab institutions into Arab contexts and traditional political spaces. This article is an attempt to analyse the problems of political coexistence and various forms of communication between minorities and majorities. Modern political science focuses on the analysis of minority issues in the context of their politicisation, activation and uprisings in authoritarian regimes or heterogeneous societies and states. The author of the article, in difference to his historiographic predecessors, will try to answer the question: what are results of the power of minorities in Syria as one of the classic cases of dynamically changing and modernising postcolonial societies? The author believes that the first strategy can be defined as the “invention” or “imagination” of a nation or the collective attempts of intellectuals to recall the nation as a universal form of political organisation of society and the state. The author defines the second strategy as an inevitable alternative to the first one and believes that it was an attempt to forget about the nation.

Historiography. The problems of the history of nationalism and nations in the non-Western contexts are among the debatable in contemporary Russian Oriental studies. Attempts of radical transplantation of the Western theoretical and methodological tools and apparatus are marginal in the contemporary Russian Oriental studies. Unfortunately, the number of Russian works in the history and current tendencies and trends in the Oriental nationalisms is extremely scarce. The contradictory use of these theoretical approaches for studies of Oriental

nationalisms became the result of the fact that this method was originally actively and widely used for the analysis of Western nationalisms. The political history of the 19th and 20th centuries and the era of colonialism as a European domination in non-Western spaces, on the one hand, confirmed Western intellectuals in their collective political and civic belief and faith that nationalism is the product of Western or European histories exclusively. On the other hand, the founding fathers of modern Nationalism Studies, including Ernest Gellner (Gellner, 1983) and Benedict Anderson (Anderson, 1983), were Orientalists. Ernest Gellner is known as the author of books on Islam (Gellner, 1983), and Benedict Anderson studied political, social and cultural processes in Indonesia (Anderson, 1983).

The classics of the Nationalism Studies stated and emphasised repeatedly that Oriental nationalisms were older than the Western ones, but the number of works on Western, European and American nationalisms is so great that it automatically formed the reputations the nation and nationalisms as Western phenomena. Russian Orientalists believe that the transplantation of the methodological and theoretical principles of Western Nationalism Studies can be possible and useful for studies of political and intellectual histories of Oriental nationalisms and nations. Vitalii Naumkin (Naumkin, 2014), one of the leading Russian Orientalists and former director of the Institute of Oriental Studies, uses the definitions of “nationalism” and “nation-state” for analysis of the political processes in the contemporary Arab world. Russian Orientalist Vasilii Kuznetsov and his Palestinian colleague Walid Salem (Kuznetsov, Salem, 2016) also actively use concepts and definitions from the academic discourse of Nationalism Studies, including “state-nation”, “nationalism”, and “nation” for analysis of the political situation in the Arab world. Vasilii Kuznetsov and Walid Salem fell into the methodological trap in their attempts to transplant Western concepts of nationalism into Oriental contexts inevitably: if historians of European and American nationalisms collectively compromise that nationalism imagines and invents the nation and provides them with independent states, Russian Orientalists perceive the category of “state” as primary and believe that the nation and nationalism are secondary ones. Other Russian Orientalists try to use Western theoretical approaches in their texts focused on the histories of non-European nationalisms, including the Kurdish (Vertiaev, Ivanov, 2015) and Indonesian (Kirchanov, 2009).

Russian political analysts Kirill Vertiaev and Stanislav Ivanov, analysing the historical and political phenomenon of Kurdish nationalism, actively use the theoretical principles that form the classical methods and practices of the Western historiography of nationalism. Maksym Kyrchanoff tries to deconstruct the Soviet collective historiographical representations about the history of South-East Asia and analyse regional nations and nationalisms as the invented traditions and the imagined communities. These authors form a minority in the Russian community of Orientalists, where the use of concepts and theories from the Western political science is not welcomed. Some Russian authors of the older generation try to resist

the politologisation of Oriental studies and its integration into Western intellectual canons. Actually, some Russian authors, on the one hand, perceive the internationalisation of the methodological apparatus as the unavoidable evil. On the other hand, they perceive new trends in the developments of Oriental studies as a departure from the orthodox purity of the positivist historiography and the blurring of the classical canons of Oriental histories writing.

Preliminary orientations. The author will analyse the features and directions of the nation's imagination and the invention of traditions in Syria. The author, on the one hand, presumes that Syria is within the classic cases that illustrate how political postcolonial elites tried to transplant Western social and economic institutions for modernisation of local structures and relationships. On the other hand, the processes of national imagination and invention in Syria can be analysed in the contexts of attempts to remember and forget the nation simultaneously. Historically Syrian society developed in heterogeneous religious and linguistic contexts: the Arab Sunnis neighboured with Christian Arabs, the Alawites and Kurds. The political elites who controlled the power after Syria appeared as an independent state on political maps tried to consolidate local communities and transform them into a Syrian political nation. This task was extremely difficult because the Alawite minority formed the group that controlled the political spaces in the country where the Sunnis constituted the demographic majority of the population. The trajectories and directions of developments of various social and religious groups the hypothetically existed Syrians actualized different strategies of transformations of political commons in the nation. The author presumes that the Alawites became a potential political nation with the necessary additional cultural and religious attributes and characteristics when the Syrian Kurds felt their involvement in the Kurdish nation in general with its significant political protest potential. The rest of Syrian Arabs, the Sunnis, could not consolidate into the nation because they did not have common social and religious identity with the Alawite minority who controlled political power in the country.

Theoretical backgrounds. Western theories of nations and nationalisms have universal significance for the studies of nationalism in Syria, but some analysts, including Florence Gaub and Patryk Pawlak (Gaub, Pawlak, 2013), are too sceptical in perspectives of their transplantation in Syrian historical contexts. Western theoretical approaches provide scholars with a number of methods that can explain the processes of the invention and imagination of nations in different regions of the world because the intellectual tactics, practices and strategies of the national building have much in common in different countries. The definitions of nations as imagined communities and political units, proposed by Benedict Anderson and Ernest Gellner in the first half of the 1980s gained universal methodological significance. The scope of their application is not limited by modern histories of Western states only. Czech historian Miroslav Hroch (Hroch,

1986; Hroch, 2000) proposed three phases in the development of nationalism and nations:

Phase A. Activists strive to lay the foundation for a national identity. They research the cultural, linguistic, social and sometimes historical attributes of a non-dominant group in order to raise awareness of the common traits, but they do this without pressing specifically national demands to remedy deficits.

Phase B. A new range of activists emerged, who sought to win over as many of their ethnic group as possible to the project of creating a future nation.

Phase C. The majority of the population forms a mass movement. In this phase, a full social movement comes into being and movement branches into conservative clerical, liberal and democratic wings, each with its own program.

The history of Syria in the 20th century provides historians with several examples of political activity that illustrate three stages in the development of nationalisms and the nations, Miroslav Hroch wrote about. The Syrian case of the development of the nation differs from the European one because the processes of nations building in Europe lasted from several decades to several centuries when the modern history of Syria as the post-colonial country is characterised by the accelerated dynamics of political and social changes and transformations. If the phases A, B and C in the history of European nationalisms could be consistent in the chronological perspective, romantic ethnographic nationalism, attempts to imagine national history and invent new political traditions, the development of the idea of an ethnic and political nation, a mass political movement developed simultaneously in Syria.

The colonial historical heritage and colonial political experience, the attempts of French intellectuals to change radically the map of Syria and invent new political landscapes provide historians of nationalism with the wide range of opportunities to analyze histories of Syrian nationalism and Syrian nation as heterogeneous histories of the invention of political traditions and the imagination of national identities, because local intellectuals and nationalists were the inspirers of political, cultural and social changes and transformations. The author believes that the use of Western theoretical approaches for the studies of Syrian nationalism is quite acceptable and applicable, but this academic tactic is fraught with a schematisation of political and historical processes of development of nationalism and nation in Syria. Therefore, the author states that the use of moderate revisionism can be useful and productive when we discuss on attempts of Syrian intellectuals to instrumentalise the idea of the nation and the political values of nationalism.

Revisionist intellectual stimuli and incentives. The moderate academic revisionism and attempts to abandon the orthodox explanations of processes of national building in the Arabic world can be useful and productive especially when we analyse the situations of the nation and nationalism in Syria. Many Western intellectuals recognise the fundamental importance and meaning of revisionism for

the progress of historical knowledge and the transformations of our collective representations about the past. James McPherson, the President of the American Historical Association, stated in 2003 that “revision is the lifeblood of historical scholarship. History is a continuing dialogue between the present and the past. Interpretations of the past are subject to change in response to new evidence, new questions asked of the evidence, new perspectives gained by the passage of time. There is no single, eternal, and immutable ‘truth’ about past events and their meaning. The unending quest of historians for understanding the past – that is, ‘revisionism’ – is what makes history vital and meaningful” (McPherson, 2003).

The author of the article presumes that attempts to study the situations of nations and nationalisms in Syria, on the one hand, belong to the number of the revisionist ones because the categories of the nation and nationalism are the heroes of the Western historical process traditionally when historical and modern presence of the nation in the countries of the Arab world became the cause for numerous academic and political discussions and debates. On the other hand, attempts to write modern Syrian history in categories of nations and nationalisms are revisionist because this understanding of Syrian history stimulates a radical revision of early collective perceptions of political, social and cultural processes. The history of Syria written in a constructivist or modernist paradigm provides traditional social and political groups and commons with radically new meanings and senses. The Syrian Alawites (Salm, 2016) will be the first victim of the revisionist attempts to imagine and invent the history of Syria in a constructivist way. If we assume that Alawites are closer than other groups of Syria come to their imagination and invention as a political nation, then we will write their early history in another system of methodological coordinates and we will abandon the stereotypes of normativist historiography and traditional perception of Alawites as the religious minority.

What were the Alawites if we will try to invent its history in revisionist contexts? The author presumes that the concepts of the British historian Roger Griffin (Griffin, 2003; Griffin, 2008; Griffin, 2007; Griffin, 1991) and the American historian Richard Lachmann (Lachmann, 2003; Lachmann, 1987), proposed by them to explain the origins and genesis of fascism and capitalism, are applicable for studies of social, political and cultural transformations of the Alawites. Richard Lachmann, on the one hand, presumes that the genesis of capitalism and the victory of the Western capitalist relations and institutions was the result of a prolonged conflict of elites. Many representatives of political dominant classes, as Richard Lachmann believes, did not understand their historical mission. The historian insists that they can not be defined as the first capitalists because they did not know what capitalism was and in fact, they were capitalists in spite of themselves. Richard Lachmann’s works are extremely controversial and as any other good books, they inspire more questions than providing readers with ready answers. Richard Lachmann analysed historical and

economic evolutions and transformations of English gentry which differed from the same social processes in Spain and Italy where economically active classes refused to receive surplus product and mutated from early capitalists into stable and conservative rentiers. Roger Griffin, on the other hand, insists that attempts to minimise the genesis of fascism by socio-economic or political factors only will be primitivisation and simplification of history. The political triumph of fascism, as Roger Griffin states, became the result of revolutionary and radical renewals, changes and transformations of old political doctrines and concepts. Formally, Richard Lachmann and Roger Griffin became known for their works focused on Western history, but their ideas as part of academic historical revisionism are universal and the author of this article presumes that they are applicable for analysis of nationalism and nation in the modern history of Syria.

Nationalism as civic religion and traditional faith. The modernist historiography of nationalism perceives and imagines nationalism as a secular political movement with vividly expressed ideological components in the program traditionally. The dominance of this narrative became a consequence of the fact that nationalism was imagined as a product of the Western in general or European-centric version of historical imagination in particular. Three centuries of Western history, beginning with bourgeois revolutions, became an era of the gradual erosion of religious values. Religion became an outsider in its competition with political and ideological doctrines. Historians of nationalism perceive this process as a modern revolt against traditional values, including religious ones. Nationalism in this situation was reputed to be a secular political religion and historians of nationalism preferred to ignore the facts of the intricate intertwining of the values of nationalism with traditional religious principles. The significant role of Catholicism in the history of Slovak or Croatian nationalism was imagined as a political mutation that inspired the radicalization of nationalists and the triumph of ethnic nationalism.

Historians of non-Western and non-European nationalisms provide scholars with numerous examples of actualization of religious factors and values. Religion in the Oriental societies became an important factor in social developments that actualized local identities and clearly distinguished them with the foreign cultures and political preferences of the colonisers. The religious history of the Alawites of Syria, despite the fact that their religious preferences were among victims of numerous speculations, insinuations and mythologisations, is a vivid example how religion can be transformed into one of the stimuli for the development of nationalistic imagination and the invention of new political traditions. The Alawites and other Muslims demonstrate different speeds of social, political and cultural changes and transformations: if Alawites represent radical Shiites who tend to nationalise their ideas, other Muslims prefer to preserve traditional values. Alawites and Sunnis live in different cultural and social epochs: if the Alawites, like the radical Puritans after the European Reformation, came closer to the

invention of the nation, the forms of the social and political organisation of the Sunnis continued to be traditional and practically unchanged. The forced Westernisation, inspired by authoritarian political regimes, was formal and superficial because attempts to deconstruct authoritarianism lead to a crisis of the state as a modern institution and its replacement by archaic communication practices automatically and inevitably. If ethnic, state and social solidarities are more important for the Alawites, their Sunni opponents prefer to preserve traditional religious values carefully. These social collective preferences of the Sunnis have much in common with archaic tribal social atavisms. The principles of political and national solidarity supplanted or weakened the generic and archaic forms of social communications among the Alawites, but traditional values continue to determine the main vectors and trajectories of the developments of the Sunnis.

Alawites and Sunnis of Syria: between the Scylla of primordialism and the Kharibdo of modernism. Syria in Russian Oriental studies belongs to a number of regions that constantly attract the attention of scholars engaged in studies of political, economic and social processes (Filonik, 2011; Dolgov, 2011). Modern historiography of the history, politics and religion of Syria provides intellectuals with two types of works. The constructivist or modernist historiography represents the first type of texts. Ernest Gellner and Benedict Anderson instigated and inspired the progress and rise of the constructivist approach in modern historiography. Edward Said and his concept of Orientalism and invention of Orient also influenced significantly the main trends in the development of constructivist historiography of modern Syrian history. The supporters of the constitutionalist historiography (Schjøtz Worren, 2007; Rousseau, 2014) analyse the history of Syria as an ideal imagined intellectual construct. The history of Syria ceases to be an ideal and logically integral narrative construction in this situation. The modernist and constructivist approaches actualize the dimensions of the imaginations and inventions of the Syrian history, which transform into several heterogeneous histories of various ethnic and religious groups as imagined communities with their invented political traditions.

Political institutions, including nationalism, the nation and traditions, are imagined as invented and artificial. French intellectuals or local Arab nationalists are imagined as the creators and founding fathers of these invented political traditions. The amorphous concept of “Arab nationalism” (Choueiri, 2000; Cleveland, 1994; Dawisha, 2003) became a generic construct for the most of the studies that belong to the constructivist paradigm (Schaebler, 2013). The primordial approach became an inevitable alternative to modernist attempts to reduce the history of Syria to the history of the 20th century. The supporters of primordial understandings of Syrian history insist that “Syria is not an artificial construct... the fact that the state was formed by outside influence does not mean that the concept of Syria as a nation-state was created ex nihilo... Syrian citizens

see themselves and their country as the historical successors of various political ancestors” (Gaub, 2016). The positions and influences of the supporters of primordialism are weak in comparison with the progress and expansion of constructivist and modernist approaches. Even Anthony Smith (Smith, 1991; Smith, 1999; Smith, 2003), the leading primordialist historian of nationalism whose intellectual influences and contributions are comparable with the achievements of the classics of modernism, was forced to admit that the modern historiography of nationalism is predominantly a constructivist and modernist (Smith, 1992).

The classical positivist historiography used primordialism as a universal intellectual tactic and a cultural strategy for Syrian history writing too actively. Modern postmodernist historiography of constructivism (Burr, 1995) imagines the history of Syria as an invented political construct. Historians and political analysts who are involved in Syrian studies prefer to use constructivist and primordial approaches in general and write the history of political, ethnic and religious groups and minorities as the history of the imagined communities in particular. The Syrian Alawites and Sunnis became victims of these intellectual speculations of contemporary historiographies which prefer to imagine them as modern invented constructs of social and political modernisations or ancient historical groups.

Five points or a brief program of revisionist Syrian history writing. Richard Lachmann’s and Roger Griffin’s ideas and assumptions are extremely promising in the contexts of their transplantation into Syrian historical contexts. The books of Richard Lachmann and Roger Griffin can be read in the Syrian system of historical and political coordinates. They are able to inspire a few questions. These questions are following: Were the Alawites ready to become a nation historically? Was the transformation of the Alawites into a nation inevitable politically? Did local or Western political and cultural influences predetermine the transformations of Alawites into a nation? Which traditional Alawite institutions and relationships did mutate into a nation? Why did the Alawites, unlike their Sunni neighbours, continue political transformations and did not become a closed stable majority? The author will try to answer these questions in the subsequent sections of the article.

Remember the nation: the invention and imagination of the community. The Alawites is the first case of national imagination and nationalistic invention of political traditions, the author will analyze in this article. Alawites (العلويون - al-'Alawiyūn) (Khaddour, 2015; Winter, 2016) or Nusayrites (نصارى ريدون - Nuṣayriyūn) (Friedman, 2010; Nguyen-Phuong-Mai, 2015) have a very ambiguous and contradictory reputation in the contemporary Muslim world. The ethnogenesis and ethnic history of the Alawites is very controversial and became the basis for numerous non-academic and predominantly political manipulations, speculations and mythologisation. The representatives of various groups from the Hittites to the Arabs, from the Crusaders to the Armenians can be imagined and located among

the Alawite ancestors. The supporters of classical and radical Islam perceive Alawism extremely negatively and insist that the Alawites are not the true Muslims. Arthur Snell presumes that “the Alawis’ low status and poverty was in part a reflection of their unorthodox religious views” (Snell, 2013).

The radical Muslims imagine the doctrines of the Alawites as an erroneous mixture of Christianity, Islam, Judaism and pagan relics of the early traditional religions. The author has no interest in Alawite history in the traditional positivist contexts, presuming that Alawism became an attempt to imagine and invent the nation, institutionalize it later in political forms and actualize political functions and dimensions of the community of believers. Jomana Qaddour presumes that “geographic separation and the subsequent economic disparity between the two communities, which began as early as the Ottoman period, ultimately led to the subjugation and marginalisation of the Alawites” (Qaddour, 2013). The Alawites tried to institutionalize their political territory and change its status in the 1920s when their leaders attempted to create Alawite state in territories which were under French control (Burke, 1973; Khoury, 1987; Khoury, 1981; Longrigg, 1958; Provence, 2005; Rabinovich, 1979; Winter, 1999). This political unit existed not too long and it was included in Syria in 1936. This experiment was one of the first attempts of non-Western politicians to transplant the principles of the coincidence of ethnic and political units in non-European and traditional realities of Oriental society. Actually French authorities played the role of formers of the colonized regional and politically unequal Arab space. The period between the early 1920s and the middle of the 1930s became a brief epoch of French political experiments in the constructivist style, when the French administration tried to separate spaces, allocate territories and imagine new political communities simultaneously.

French intellectuals and colonial officials actively tried to imagine the ethnic, religious and language map of the region and divide local groups and communities in their individual potential states. Therefore, Sanjak of Alexandretta, State of Aleppo, Alawite State, Greater Lebanon, State of Damascus, and Jabal-al-Druze State were failed states (Patel, 2015) and co-existed simultaneously in the territory of the French Mandate for Syria and Lebanon. The French politicians and Orientalists involved in the legitimation of the colonial experiment did not understand and did not imagine the possible directions and trajectories of the political, state and ethnic developments of the region, and therefore French policy until the middle of the 1930s allowed and contemplated simultaneous and parallel coexistence of several regionalized and particularistic forms of potential statehoods. The French authorities changed their positions in the 1930s because they rejected attempts to construct regionalized political forms and decided to imagine the macroregion of Syria with its further possible transformation into the state. Alawites were simultaneously outsiders and beneficiaries of this situation.

On the one hand, they could not create their own independent state in particular, but, on the other hand, they gained control over the territory of Syria in

general. Some Russian authors presume that “the gaining of independence by the Arab countries did not lead to the acquisition of full sovereignty” and therefore the political phenomenon of “sovereignty without sovereigns” (Kuznetsov, Salem, 2016; Kuznetsov, 2015) emerged. The history of the Alawites in Syria actualizes this formula: the Alawites changed, transformed and modernised dynamically in the second half of the 20th century, the traditional community became an imagined community, religious marginals formed their political nation, but the Alawites received Syria as an Arab state instead of their own Alawite nation-state. The Alawites before the beginning of the 20th century were a closed community that preferred to develop “inward”, but the political processes of modernisation forced the leaders of the Alawites to change radically and decisively. While the Alawites as a community or group developed inward and did not attempt to institutionalise themselves in the political dimensions, they were among the invisible political communities and did not have the chance to become a nation. The invasion of the world represented by the French mandate forced the Alawites to become a more open group. Formally the Alawites were very poor until the 1970s and they also kept their reputation of the most closed trends in Islam, which stimulates the anti-Alawite speculations of other Muslims. The former unrecognised religious marginals and outsiders became sovereigns without sovereignty.

The transformation of the Alawites from the marginal group with a disputed and debatable religious and ethnic status into the political elites of Syria provided their intellectuals with a wide range of possibilities and opportunities to invent and imagine national identity. Hafez al-Assad (الأحد حافظ, Ḥāfiẓ al-'Asad), who gained power in Syria in 1970, became the founding father of the modern Alawite political nation and its identity. Hafez al-Assad was one of the first politicians who tried to build a system of the state politics that would accustom people to associate themselves with the state as the main object of their loyalty. The triumph of Hafez al-Assad changed the status of the Alawites radically and provided them with opportunities for social, political and economic progress. Arthur Snell presumes that the Alawite rule changed the social dynamics of this group of Syrian society because “the implications of a small, historically marginal and theologically unorthodox group holding the reins of power are clear: from the start they have had a strong incentive to shore up their power-base through inter-marriage, self-enrichment and repression of the majority” (Snell, 2013).

American military and political analysts Frederic C. Hof and Alex Simon presume that “Hafiz al-Assad’s coup marked the completion of an Alawite political ascension that had been in the making since the days of the French mandate” (Hof, Simon, 2013). Aron Lund presumes that “the Alawite-dominated military regime of Hafez al-Assad, who took power in an internal coup in 1970, ruthlessly suppressed Sunni Islamism, which it considered an existential threat” (Lund, 2013). Economic dominations of the Alawites is one of the most remarkable features of al-Assad dynasty’s political regime. Ivan Briscoe, Floor Janssen, and

Rosan Smits presume that “resentment over the clustering of economic opportunity in the hands of a well-connected elite, in which members of the Alawite minority are over-represented, fed into the first protests against the Assad regime, and has contributed to some of the most important fluxes of the conflict... Over four decades, the ruling family has carefully crafted an intricate crony-based patronage system, consisting of a number of (first informal, then formal) networks that monopolise large sectors of the economy, but above all has served to keep the Assad regime in place” (Briscoe, 2012).

Hafez al-Assad had a historic opportunity to consolidate Syria as a political nation of citizens because the country was extremely heterogeneous and regionalized. Russian historians presume that the Arab world did not perceive Western forms of modernisation when local elites started this process because “the idea of national genesis was not rooted too deep in the region... the formation of specific hybrid ideologies of nation building was the first consequence of this situation, formed in the contexts of integration of the states that proclaimed their independence into a world political system ... a lack of legitimacy of the states in the region became the second consequence of the incompleteness of nation formation, this factor accelerated the hybrid nature of the ideologies... the disparity of social order and public institutions became one more factor that prevented the development of the modern state” (Kuznetsov, Salem, 2016). Hafez al-Assad tried to synthesise the values of Arabian Syrian nationalism and the principles of Western political and social modernisations. The authoritarian political experiment of the Syrian leader became an attempt to answer one of the central questions in the Occidental-Oriental opposition, formulated by Russian Orientalist Vitalii Naumkin: “Are Islamic norms compatible with democratic values?” (Naumkin, 2014). Hafez al-Assad realized that the French experience of governing a country divided into territories with different cultural, ethnic and linguistic characteristics can not be effectively applied to Syria because French intellectuals and officials imagined Syria in European centered system of coordinates and integrated local features, including the absence of political nations and civil society, in their European collective political ideals.

The Alawites in the Ottoman Empire were a local marginal group and the unrecognised political and religious minority, their marginal status became one of the stimuli for the radical transformations after Syria became independent and Hafez al-Assad gained power. Alawite leaders realised that attempts to resist Western modernisation would be useless and they preferred to control and inspire these processes. Hafez al-Assad after he got political power received an extremely fragmented and heterogeneous country. It is logical to assume that the Syrian statehood developed as a dichotomy of a historical and modern state. The Arab Sunni majority represent a historical and archaic state rooted in traditional institutions. Alawites, who during the period of the French mandate, began to actively receive education, including military one, became actors of social and

economic changes (Haddad, 2012) and gradually formed the elites of the modern state with its political institutions. Some American Orientalists presume that French influence inspired political and social changes of Alawite community because “France adopted favourable policies toward Syrian minorities, granting Alawites political and legal autonomy from their erstwhile Sunni oppressors, along with low taxes and high government subsidies. They also gained disproportionate representation in the French-officered, locally recruited occupation military force, as France sought to divide Syrians along sectarian lines” (Hof, Simon, 2013).

Vasili Kuznetsov presumes that “a traditional state that is preserved in rural areas and in the suburbs of urban agglomerations, where yesterday’s villagers move, reproduce the traditional models of social relations” (Kuznetsov, Salem, 2016). Hafez al-Assad abandoned the ideological principles of pan-Arabism and tried to solve two strategic tasks: on the one hand, he sought to consolidate Syria as a political nation in particular and the state in general; on the other hand, he consolidated the Alawites, he belonged to, as the political community and the political nation. Hafez al-Assad provided the Alawites with opportunities to gain control over Syrian political and economic resources. Alawites during Hafez al-Assad’s era, on the one hand, formed the basis of the political class and the ruling elites; they received the majority of positions in the army and special services, and partially took control of the national economy. On the other hand, Alawites, like any other community that was previously a victim of social and religious discrimination, suffered from complexes of unrealized political projects and ambitions. The policy of the forced modernisation in general, initiated by Hafez al-Assad, simultaneously facilitated and inspired the modernisation and consolidation of the Alawites as a political community in particular. The access to political, military and economic resources, the Alawites received since the 1970s, helped them in their attempts to transform the unrecognized and marginalised group into a political community with elements of the nation. The struggle of Hafez al-Assad against radical political Islam (Malashenko, 2001) as an opposition ideological stimulus also assisted to the civic, ethnic and religious consolidation of Alawites into the imagined community and nation with its political invented traditions.

Russian analysts Andrei Skriba and Dmitrii Novikov state that “the peoples of the Middle Eastern countries are not ready to full-fledged democratic society”, but “transition and movement in this direction are uncontested” (Skriba, Novikov, 2016). The authoritarian political, social and cultural modernisations inspired by Hafez al-Assad and his political heirs, on the one hand, marked the end of the era of political failures and changed the political reputation of the Syrian Alawites radically who in previous years could not create their own independent statehood and entered them into the number of the imagined communities with developed political traditions, including cultural and social institutions of historical memory (Bolliger, 2011). On the other hand, the authoritarian political regime tried to change the identity of Syrian Arabs and turn them into a political Syrian nation.

This task would not be feasible if intellectuals did not try to consolidate society and provide it with common ideological values, including collective representations of the past and national history. Swedish expert Aron Lund presumes that “Syrian government has, since the late 1960s, been dominated by a small group of Alawite Arab military families from the Latakia and Tartous governorates, and their tribal, political and personal allies from among a somewhat wider range of sectarian and regional backgrounds” (Lund, 2012). The policy of radical and decisive modernization, inspired by Hafez al-Assad, had limited social and political bases and origins because it actualized the heterogeneous character of the Syrian statehood with its numerous regional and religious contradictions. Forced modernization changed the social appearance of the Alawite radically and turned them into an imagined community that could create and imagine its own invented political and economic traditions. These traditions became modern constructs, but the social groups that created them preferred to nationalise and modernize traditional and archaic values and relations. A new identity, including its economic, political and social dimensions, determined the main trajectories and directions for collective action of the Syrian Alawites. Despite these successes, the Alawites failed in their radical attempts to modernize the Syrian society.

Forget the nation or triumph of political archaism. The Sunnis of Syria form a numerical majority of the population and prefer to reproduce the traditional model that became one of the reasons for the rise of political disagreement with the fact that the representatives of the Alawite minority control political power. These circumstances actualized various assessments of the Syrian political regime in historiography (Zisser, 2006; Farouk-Ali, 2014; Salamandra, 2013). Latvian analyst Jānis Bērziņš, analysing the general trends of Syrian developments in the second half of the 20th century, presumes that “since its independence from France in 1946, Syria has passed through many periods of political instability. Increasing Arab nationalism fuelled many military coups until the Syrian Corrective Revolution in 1970 brought the Arab Socialist Ba’ath Party and Hafez Al-Assad to power. The new regime was autocratic, one-party, and very totalitarian, meaning that any opposition was to be repressed. The President fully and directly controlled the military and security apparatus, which controlled the public administration including the Baath Party itself, the Council of Ministers, the People’s Assembly (the Parliament), the judiciary, all trade unions, the media, and the economy. With Hafez Al Assad’s death in 2000, his son Bashar Al-Assad took office as Syria’s leader. Although in the beginning, his policies seemed to be progressive and more liberal, in some years became clear that the main features of the regime were to be unchanged” (Bērziņš, 2013).

The ideological loyalty of the Alawite community co-existed with the political passivity of the Sunni majority. The political regime that existed in Syria since 1970 was far from the ideals of freedom and the values of democracy, but the elites provided the community they belonged to with opportunities for

development, changes and progress. The institutionalisation of lack and even absence of freedom led to the most negative consequences. The Russian economist Andrei Illarionov presumes that “the lack of freedom forms an insurmountable barrier to economic growth, social development, human security, the country, the state... non-freedom is social regression and economic degradation. This is the disintegration of state institutions” (Illarionov, 2006). If the situation of lack of freedom inspired Alawite consolidation into an almost political nation, the lack of freedom of the Sunni majority inspired its radicalization and mental migration to Islamic radicalism. The current political crisis and the civil war in Syria became the consequences of the Arab spring inspired by the power of ethnoreligious minorities whose policies provoked riots and protests of the silent and invisible majority. The most Syrian Muslims, as Russian analysts Andrei Skriba and Dmitrii Novikov, presume, “are not yet objectively ready for democracy. This makes state institutions vulnerable to the urgent and necessary internal reforms including the fight against corruption, the reform of social and political life, when even authoritarian secular regimes are unable to keep the situation under control” (Skriba, Novikov, 2016). The attempts to modernise Syria as a society and change its state foundations, to turn the country from part of physical geography into a part of political geography were unsuccessful because the Sunnis that formed the majority of the rural population (Batatu, 1999) in territories that became Syria were mostly traditional and even archaic groups. The period of French domination was extremely short and the French colonial authorities failed in their attempts to change the situation radically. If the Alawites used the window of social and political opportunities that France opened for them, the Sunnis perceived European and Western winds with obvious rejection and irritation. Syria in the second half of the 20th century developed as a fragmented society, its segments had different political, religious and cultural preferences. Sunnis were dissatisfied with the prevalence of the Alawites in the political processes and preferred to imagine their own social alternatives, but the last ones became anti-modernist and anti-Western. Hafez al-Assad despite all his attempts was not too successful in the consolidation of Syria into a political nation. Hafez al-Assad’s political desire and will to separate the country from the rest of the Arab world and intellectual attempts to imagine a unique Syrian identity and provide the nation, they believed in and dreamed about, with its unique political national traditions had the limited effect on social structures and political preferences of the population.

This attempt was not very successful because Hafez al-Assad sought to combine modernist and traditionalist values, Western and Oriental political principles, the principles of nationalism and the dogmas of socialism. The policy of the forced social and political modernizations in Syria inspired two problems, the modern political regime and the Alawite clans that formed the nuclei of political elites met. The attempts of radical modernization provoked the tragedy of commons and actualized the situation of unequal access to political and economic

resources. The heterogeneous distribution of the population, the outstripping development of the Alawite regions, the slower speed of social and economic transformations, provoked the tragedy of anti-communes in the Sunni territories. Syrian Sunnis were the main participants of these social changes and their victims simultaneously. The confrontation of the Sunnis with the political regime inspired simultaneous and parallel marginalization and radicalization of the participants of the conflict, but the Sunnis were not victims of the Alawite government because “has always existed a rather significant bloc of Sunni Arab public support for the Assad family, without which it would have been unable to rule effectively” (Lund, 2012).

The ideological program and political platform of Hafez al-Assad and his ideological supporters were the collective attempts to transplant Western ideological values into Oriental political contexts. The imagined Syria was a part of the idealistic political and civil religion and faith that it was possible to modernise and consolidate the local Arabs into a Syrian political nation and transform landscapes with the domination of heterogeneous traditional relations, institutions and cultures radically. Hafez al-Assad's attempts to turn the Syrian Arabs into a political nation of Syria were doomed to failure because the ruling elites and most of their citizens belonged to different religious and political groups. Religious differences and contradictions attracted and inspired political ones inevitably because the Sunnis believed that the Alawites with their conflicting religious reputation usurped access to political resources and solely participated in the processes of political decisions making and taking. The political dominance of the Alawites, on the one hand, became an incentive for the radicalization of the Sunnis, but, on the other hand, the religious conflict in Syria inspired numerous social dilemmas of the Sunni majority. The radicalization of the Sunnis provided them with possibilities of the forced settlement of the Alawite problem. The forcible solution became extremely attractive for Sunni radicals, but they did not understand that it will have a short-term effect only.

The short-term goals of Islamic radicals are different to attempts of the moderate politicians to reach a political compromise that would benefit participants of the conflict in general. The passive nature of the Sunni majority inspired a free-rider problem because the Sunnis were full with negative collective sentiments about the al-Assad dynasty, but they used and consumed political, social and economic benefits, the Alawite regime generated and proposed for them. Alawite political elites in Syria forced the Syrian Sunnis to actualize their religious identity, their belongingness to the formally normal Ummah and their differences from the Alawites because the Sunnis refused to accept them as normal Muslims. Ayse Tekdal Fildis presume that “Arab nationalism, developed mainly by the Sunni Muslim community, was perceived as a threat by the French as well as by the Christians and the heterodox Muslim communities” (Tekdal Fildis, 2012). The religious identity of the Syrians as members of the greater Ummah proved to be

more successful and adaptive than the political identity of the Syrian nation. Syrian intellectuals attempted to imagine the Syrian nation and invent its political traditions and necessary attributes, including national history, historical memory, political symbols and rituals when the Islamic alternative seemed more attractive and universal because it provided believers with more understandable attributes of religious self-imagination. The values and principles of the Ummah became winners in the conflict with the principles of the nation and class as Western imagined political and social constructs.

The opponents of the al-Assad political dynasty do not propose an alternative project of the nation and the nation-state in the actual civil war conflict and confrontation with the Alawites and their allies because the Ummah in the classical sense is not a nation or even a community in the Western sense. If Syrian opposition consistently denies the legitimacy of Bashar al-Assad, Syrian President himself tries to prove his legitimacy and actualize historical, political and social continuities with his father's regime with the same persistence as his opponents criticise him. Therefore, the secular Alawite-dominated regime of Bashar al-Assad, on the one hand, plays the role of a universal alternative to radical Islamization because it "was careful to preserve its secular image" (Lund, 2012). On the other hand, the existing regime became the radical and decisive attempt to implement in practice the Western ideas of a political nation-state when its opponents reject this idea in general. The Ummah, as an alternative to political nationalism, ignores the state boundaries. The ideas of al-Assad clan's opponents became the collective attempts to forget about the nation and to replace the national modern political institutions with religious and archaic ones. The radicalization of the Syrian Sunnis was one of the consequences of the forced modernization of society, initiated by political elites in general and Alawites in particular. Modernization facilitated the institutionalisation of the idea of political identity. Therefore, Andrew Parasiliti, Kathleen Reedy, Becca Wasser suppose that "Syrian national identity is state-centered and surprisingly well developed historically, despite the country's postcolonial experience and authoritarian governance" (Parasiliti, Reedy, Wasser, 2017), but the Sunni majority could not take radical forms and practices of modernization. This political unwillingness inspired the archaization of social and political relations among the Sunnis who formed the basis of a radical Islamist protest in Syria.

Balkanization of imagined communities in Syria. The authoritarian political regime institutionalised by Hafez al-Assad was a successful attempt of national, political and social consolidations of Syria, but the undemocratic regime of the Syrian leader could not prevent the inevitable processes of political and social heterogeneity and territorial fragmentation that became local forms of balkanisation of political and economic spaces (Kaplan, 1993). Syrian nationalism in general and Alawite nationalism, in particular, became in Hafez al-Assad's Syria a relatively new form of identity that became a result of attempts of the elites to

separate the Syrian political project from the universalist canons of Pan-Arabism. Contemporary American analysts presume that Syrian Alawites reached the level of political consolidation that provides them with the wide range of opportunities to create their own statelet in the territories of “Alawite-dominated sectarian enclave” with “an Alawite majority population and a Mediterranean coastal administrative capital in either Latakia or Tartus” (Heras, 2013). The protracted military conflict in Syria and civil war actualize the problems of the future fate of the Syrian statehood as a political project. Some Russian analysts believe that it is possible to predict the disintegration of Syria as the united and centralised state: “significant outcome of the conflict in Syria could well be that country’s disintegration. If the Assad regime falls, the Alawites will not want to remain under the rule of the current Sunni opposition coalition, especially their radical wing, the Muslim Brotherhood. To avoid genocide by them, the Alawites will probably relocate to the areas where large numbers already live along the Mediterranean coast and declare their own independent state. Thus, Syria is actually threatened with splitting into at least three parts – Sunnis, Alawites and Kurds. And its many Christians will hardly want to live under Sharia law administered by the Muslim Brotherhood. Therefore, the fall of Damascus, if it happens, will not end the fighting in Syria; rather, it will trigger Syria’s disintegration through lengthy and bloody wars” (Orlov, 2013).

Alawites, unlike Sunnis, came closer than other Muslims to the imagination of themselves as the nation in the Western sense of this political definition. Therefore, some Russian experts, on the one hand, suppose that “after four years of bloody civil war in Syria, severely affected by external interference, it appears that the regime in Damascus has begun to crack, despite the fact that the Syrian army has scored one victory after another on the field of battle. Yet there’s no visible prospect of a peaceful settlement of the conflict. Moreover, there are signs of the actual collapse of the Syrian state, which can quickly be torn into a number of semi-independent entities. Should this happen the massacre of the Syrian people will only intensify. The grip of the government of Bashar al-Assad is weakening as Damascus becomes increasingly dependent on its allies from abroad, especially volunteers from Iran and Iraq. Traditionally the most effective support Syria has is from the Lebanese Shia organisation Hezbollah” (Lvov, 2015).

The several factors, including the hybrid nature of nationalist ideologies, the lack of state legitimacy, fragmented and heterogeneous societies, disparities of institutional development, multiplicities of state forms and institutions, structural contradictions predetermined the crisis of the Syrian model of the invention and imagination of the nation. On the other hand, some Western experts presume that the Syrian political crisis and civil war will inevitably lead to a radical territorial and state transformations of the Middle East in general (Shakdan, 2016) and Syria in particular. The Russian analyst Vladimir Mikheev believes that “fragmentation of the country along ethnic and sectarian lines leaves no other option but to

introduce a federal system of government and create three autonomous regions, which would remain part of a unified Syria” (Mikheev, 2016). The range of forecasts about the political fate of Syria includes “fragmentation and destruction of a state into smaller, often hostile regions” (Wagner, 2015), the appearance of “bite-sized semi-autonomous sectarian enclaves” (Heard, 2016) or “into sectarian mini-states” (Silverberg, 2013). English political commentator Andrei Ostal’skii state: “what will Alawites do themselves with Assad and his closest supporters after they got guarantees of their state and security... will they give him to the international tribunal, as the Serbs did with Milosevic? It is quite possibly. After all, their current rallying around the leader stems from the horrors of the civil war, from fear of the Sunni majority. This fear is fully justified because Assad waged a war of religious hostility, which is fraught with genocide. If the threat of destruction disappears, the needs to love the dictator and his vertical will disappear too” (Ostal’skii, 2016).

The possible consequences of the civil war in Syria are unclear and it is logical to assume that Syria will not be able to exist as a unified state in the future. The inevitable balkanization of the conflict will lead to the disintegration of Syria and the emergence of new political actors, but the collapse of the country, on the one hand, will stabilise the situation and let to avoid new victims. On the other hand, the disintegration of the Syrian political space will provide new states with hypothetical opportunities for developments and transformations in the nations and even nations-states. Alawites are already ready to become a nation, but an authoritarian political regime significantly limits the opportunities for consolidation and development of this group.

Path-dependence and the faith of nationalism in Syria. The rise and successes of radical Islamism in Syria among the Sunnis became a form of conscious archaization of political institutions and social and cultural relations they generate. The Syrians do not feel themselves a single nation. The Islamist uprising became a riot and protest of traditional believers against the values of political nationalism and the principles of the nation. The rejection of nationalism and the nation as its systemic and central derivative inspired the Islamists to abandon the state as a political institution. Syrian Sunnis and Alawites assumed similar social, political and economic positions in the end of the 19th century, but the events of the 20th century actualized various trends in the development of these groups. The backwardness and predominantly traditional character of the Arab population groups in Syria became a historical pattern and therefore the political progress of the Alawites was an exception.

The project of political and economic authoritarian modernization was too ambitious for Syria and its successful implementation was possible only by authoritarian methods. Bashar al-Assad’s attempts to reform identified numerous social and economic problems acutely. Russian Orientalist Aleksandr Akimov presumes that “on the eve of the inevitable reduction of natural resources and the

growing contradictions between levels of economic and political developments in all Arab countries socio-political conflict was inevitable. The youth that numerically prevails in Arab society becomes its driving force. Unemployment, social injustice, overvalued social expectations lead to the marginalisation of large numbers of people. Their possible structuring and institutionalisation under national and (or) religious slogans lead to political instability and impede the achievement of sustainable economic development goals” (Akimov, 2012). The current political crisis in Syria and the civil war were the consequences of the fact that the various ethnic and religious groups that form the Syrian society in the 20th century chose different social, cultural and political strategies and developments. Sunnis and Alawites between the two world wars preferred to choose different formal and informal standards of development. Therefore, neither economic growth inspired by the neither authoritarian regime, nor attempts of the moderate democratisation improved political institutions and stimulated progress in the economy. The Sunnis and Alawites adopted various development standards which, on the one hand, determined political, social and economic progress or decay and regression.

The nation as a form of political organisation became a watershed in the various development standards adopted by the Sunnis and Alawites. The initial institutional choice of Syrian Sunnis was politically and historically erroneous. The period between the two world wars became the era of a gradual political divergence of the Sunnis and Alawites, which institutionalised the heterogeneous character of the Syrian society. Actual political processes in Syria became a retransmission of various trajectories of developments of the Sunnis and Alawites. Political institutions, including the development of nationalism and the nation or their absence, the weakness or latent character of modern values, predetermined the various trajectories and destinies of nationalism and the nation among the Syrian Arabs. Two different trajectories of the development of the Sunnis and Alawites became different social orders and the author of the article insists that the political evolution of the Alawites and Sunnis is not a consistent historical stage of development.

Forced modernization of Syria, inspired by al-Assad dynasty led to the formation of a mixed and heterogeneous society that combines the elements of a closed and open model in its developments. Since the 1970s, the Syrian political elites tried to create norms and laws for society, but they preferred to keep informal exceptions for themselves. Political institutions and organisations in Syria were created for the existing political regime, but unlike other cases of regional authoritarianism, Syrian institutions of Hafez al-Assad were able to survive in Syria of his political heir. Violence was the factor that actualized the closed model of the development of the Syrian society under the rule of the Alawites: if democracies are based on the joint control of violence by the state and society, Alawite violence became the political monopoly of the elites.

To the revisionist history of the nation and nationalism in Syria: the case of the Alawites. Historically, the Alawites were not ready to become a political nation and their religious leaders did not have such ambitious goals to transform the group, they belonged to, in the nation. The Alawites were not ready to become the nation in the Western sense because the ideas of the political nation and nation-state were unknown to them and were absent in their predominantly religious ideology until the 1920s. The Alawites did not seek radical social and political mutations in the nation, but the very logic of history forced the traditional and archaic groups of the Alawite to change and transform into more socially, politically and economically active and organised communities inexorably and inevitably. Social, economic and political institutions, relations, norms and traditions of the Arab Orient were very stable.

Conservative stability determined the main vectors and trajectories of the political and social history of the Alawites until the 20th century. Nothing foreshadowed social and political storms that radically changed political spaces and forced traditional groups to change and become participants and agents of the modernisation process. Western and local incentives influenced the Alawites simultaneously and determined the main vectors of their transformations. French colonialism and foreign colonial domination became the powerful external factors, but the negative regional political and social dynamics stimulated and inspired the Alawites in their attempts to change status. French colonialism did not try to destroy local economic institutions, relations and norms. France did not seek to change the identity of future Syrian Arabs radically. The factors of religious intolerance and the uncertain and controversial status of the Alawites in the Islamic world stimulated social, political and economic transformations more than the notorious French colonialism. The negative external political dynamics, the rejection and non-recognition of the Alawites by neighbouring Sunnis actualized the role and significance of the traditional institutions of the Alawites as a religious community. Sunnis do not perceive the Alawites as normal Muslims but preferred to insist that Alawite ideas were heretical errors and erroneous fabrications.

The external negation and rejection stimulated the politicisation of Alawite religious teachings and inspired the instrumentalisation of their doctrines that became political invented traditions. Alawites had all historical chances to remain an isolated and closed ethnic and religious group of the heterogeneous Arab world. The history of Islam provides historians with several examples how different groups regressed in spite the fact that some decades earlier they were active, but could not adapt to new economic, social, and political situations. The Sunni opponents and the consistent critics of the Alawites did not recognise them radically, decisively and consistently. Sunni opponents deprived the Alawite of choice; they stimulated and inspired their consolidation from an archaic traditional group into a political community, a political nation and a potential nation-state. The Alawites did not become part of the silent and almost invisible heterogeneous

passive majority because they retained their group identity, the features of their religious doctrine, and preferred to remain within the dynamically changing political communities which receive their real and symbolic surplus product in the form of political control and active participation in the processed of political decisions taking and making.

Preliminary conclusions. The political strategies of forced authoritarian and undemocratic modernisations of Syrian society became regional forms and attempt to modernise traditional Arabic state politically, socially and economically. The political elite of Syria preferred to modernise a heterogeneous ethnic and religious country, they controlled and ruled, in authoritarian way and style. The political, social and cultural history of Syria, written in a constructivist and modernist system of coordinates, is very promising for using of Western theories of nationalism. These approaches can be effective tools in attempts to explain the invention of Syria as a nation-state and the imagination of the Syrians as a political and ethnic nation simultaneously. Syria, on the one hand, is a classic example of the transformation of traditional communities into a modern state with elements of the nation-state in the contexts of an authoritarian model of development. On the other hand, Syria is also a classic illustration of the process of unsuccessful modernisation of an authoritarian regime, when political elites failed in their attempts to confront ideological threats of radical Islam effectively as a universal alternative to authoritarian modernisation and transplantation of Western institutions of the nation into social and cultural spaces where imagined religious commons with their invented traditions played the role of political communities.

Historically, the prerequisites and conditions for the transformation of traditional groups into political communities and nations existed in Syria, but the local Arab archaic institutions decisively assimilated and suppressed them. Alawite ethnic and religious minority became the main source for political elites and this factor had a significant impact on the main forms and vectors of modernisation. The political modernisation stimulated and inspired the transformations of traditional and partially archaic ethnic and religious structures into modern communities influenced on Alawites, Sunnis and Kurds differently. Ethnic and political consolidation of the Kurds became part of the general Kurdish social transformations of traditional groups into a nation. The attempts to transform the Arabs of Syria into the Syrian Arab political nation met numerous obstacles and barriers, including the dominance of traditional archaic institutions and relations that were more adaptive than formally Western norms and values, Syrian political elites were too ambitious to transplant into the country they ruled and governed. The contradictions of political and social developments of Syria actualized two strategies of national imagination and the invention of national political traditions.

The first strategy can be defined as “forgetting” or “ignoring the nation”. The Sunni majority preferred to use this particular form of political socialisation because local Arab values and the principles of Sunnism proved to be more

adaptable and attractive to them than the political project proposed formally by the Syrian but in the fact Alawite elites. Demographically the Sunnis are more than Alawites, but this superiority facilitates heterogenisation and significantly slows down the processes of social, political and ethnic consolidations. The Alawites radically differ from the neighbouring Sunni religious and ethnic majority: their relatively small numbers and religious characteristics became the factors that positively influenced transformations into a political nation. It was easier for the Alawites to remember that they are a nation and a community in this political and intellectual situation because attempts to forget about a nation would inevitably lead to assimilation or radical physical destruction of them by their religious and political opponents. Syrian historical experience is a universal example how authoritarian modernisation and religious minorities try to transform archaic political institutions and relations radically, but these attempts can be unsuccessful because early institutions and relations that existed before the start of modernisation demonstrate more successful and adaptive potential. The civil war in Syria proved that the Alawites remembered the nation as a universal form of political existence when their opponents forgot about it as an artificial western invention, preferring the universal language of religiously motivated and legitimised violence.

References

Akimov, Aleksandr. (2012), Stsenarii razvitiia stran Vostoka na dolgosrochnuiu perspektivu, in Vostochnaia analitika. Ezhegodnik 2012. Tendentsii, perspektivy, prognozy razvitiia stran Vostoka. Moskva: Institut vostokovedeniia RAN, ss. 5–13.

Anderson, Benedict. (1983), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. NY: Verso, 160 p.

Anderson, Benedict. (1983), Language and Power. Exploring Political Cultures in Indonesia. Cornell: Cornell University Press, 352 p.;

Batatu, Hanna. (1999), Syria's Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics. Princeton University Press, Jew Jersey

Bērziņš, Jānis. (2013), Civil War in Syria: Origins, Dynamics, and Possible Solutions, in Strategic Review of National Defence Academy of Latvia, No 7, 12 p. [On-line resource]. – URL: <http://www.mil.lv/~media/NAA/AZPC/SA-07p.ashx>

Bolliger, Monika. (2011), Writing Syrian History while Propagating Arab Nationalism. Textbooks about Modern Arab History under Hafiz and Bashar al-Asad, in Journal of Educational Media, Memory, and Society, Vol. 3, Issue 2, Spring, pp. 96–112.

Briscoe, Ivan; Janssen, Floor; Smits, Rosan. (2012), *Stability and economic recovery after Assad: key steps for Syria's post-conflict transition*. The Hague: Conflict Research Unit – The Clingendael Institute, pp. 7, 9.

Burke, Edmund, (1973). *A Comparative View of French Native Policy in Morocco and Syria, 1912–1925*, in *Middle Eastern Studies*, Vol. 9, No. 2, pp. 175–186.

Burr, Vivien. (1995), *An introduction to Social Constructionism*. L.: Routledge

Choueiri, Youssef. (2000). *Arab Nationalism. A History*. Oxford: Blackwell

Cleveland, William. (1994), *A History of the Modern Middle East*. Oxford: Westview Press

Dawisha, Adeed. (2003), *Arab Nationalism in the Twentieth Century – From Triumph to Despair*. Princeton University Press

Dolgov, Boris. (2011), *Krizis v Sirii: vnutrennie i vneshnie faktory*, in *Vostochnaia analitika. Ezhegodnik 2011. Ekonomika i politika stran Vostoka*. Moskva: Institut vostokovedeniia RAN, ss. 181–187.

Farouk-Ali, Aslam. (2014), *Sectarianism in Alawi Syria: Exploring the Paradoxes of Politics and Religion*, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 34, No 3, pp. 207–226.

Filonik, Aleksandr. (2011), *Siriia: reformy i politika*, in *Vostochnaia analitika. Ezhegodnik 2011. Ekonomika i politika stran Vostoka*. Moskva: Institut vostokovedeniia RAN, ss. 177–180.

Friedman, Yaron. (2010), *The Nuṣayrī-ʿAlawīs An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria*. NY – L.: Brill.

Gaub, Florence. (2016), *Syrian Separation: Why division is not the answer*, in *Security Policy Working Paper (Federal Academy for Security Policy)*, No. 17 https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/working_paper_2016_17.pdf

Gaub, Florence; Pawlak, Patryk. (2013), *Sykes-Picot and Syria*, in *Issue Alert. European Union Institute for Security Studies*, no 34, October, pp. 1 – 2.

Gellner, Ernest. (1983), *Muslim Society*. Cambridge University Press, 267 p.

Gellner, Ernest. (1983), *Nations and Nationalism*. Cornell: Cornell University Press, 150 p.

Griffin, Roger. (1991), *The Nature of Fascism*. NY: St. Martin's Press.

Griffin, Roger. (2003), *From Slime Mould to Rhizome: An Introduction to the Groupuscular Right*, in *Patterns of Prejudice*. Vol. 37. No 1. P. 27-50.

Griffin, Roger. (2007), *Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler*. Hampshire and NY: Palgrave

Griffin, Roger. (2008), *A Fascist Century*. Hampshire and NY: Palgrave

Haddad, Bassam. (2012). *Business Networks in Syria. The political economy of authoritarian resistance*. Stanford: Stanford University Press

Haddad, Bassam. (2012). Syria, the Arab uprisings, and the political economy of authoritarian resistance, in *Interface Journal*, Vol. 4, No 1, pp. 113 – 130.

Heard, Linda. (2016), Balkanization of Syria is a catastrophic idea, in *Arab News*, March 23 [On-line resource]. – URL: <http://www.arabnews.com/columns/news/899396>

Heras, Nicholas. (2013), *The Potential for an Assad statelet in Syria*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy

Hof, Frederic; Simon, Alex. (2013), *Sectarian Violence in Syria's Civil War: Causes, Consequences, and Recommendations for Mitigation*. Washington: The Center for the Prevention of Genocide, United States Holocaust Memorial Museum

Hroch, Miroslav. (1986), *Evropská národní hnutí v 19. století*. Praha: Svoboda; Hroch, Miroslav. (1971), *Obrození malých evropských národů*. Praha: Universita Karlova, 115 s.

Hroch, Miroslav. (2000), *Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations*. Columbia University Press, 220 p.

Illarionov, Andrei. (2006), Bar'ery nesvobody, in *Kommersant*, 27 marta [On-line resource]. – URL: <http://kommersant.ru/doc/660915>

Kaplan, Robert. (1993), Syria: Identity Crisis. Hafez-al Assad has so far prevented the Balkanization of his country, but he can't last forever, in *The Atlantic*, February [On-line resource]. – URL: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1993/02/syria-identity-crisis/303860/>

Khaddour, Kheder. (2015), The Alawite Dilemma, in Stolleis, Friederike, ed. (2015), *Playing the Sectarian Card Identities and Affiliations of Local Communities in Syria*. Beirut: Friedrich-Ebert-Stiftung – Dakroub Printing Press s.a.l., pp. 11–26.

Khoury, Philip, (1987). *Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920–1945*. Princeton: Princeton University Press

Khoury, Philip. (1981). Factionalism among Syrian Nationalists during the French Mandate, in *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 13, No 4, pp. 441–469.

Kirchanov, Maksim. (2009), *Natsionalizm i modernizatsiia v Indonezii v XX veke*. Voronezh: Nauchnaia kniga, 250 s.

Kuznetsov, Vasili, Salem, Walid. (2016), Bezal'ternativnaia hrupkost': sud'ba gosudarstva-natsii v arabskom mire, in *Rossiia v global'noi politike*, 13 marta [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natsii-v-arabskom-mire-18043>

Kuznetsov, Vasili. (2015). IG – al'ternativnaia gosudarstvennost', in Rossiia v global'noi politike, 13 oktiabria [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/number/IG--alternativnaya-gosudarstvennost-17739>

Lachmann, Richard. (1987), From manor to market. Structural change in England, 1536-1640. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 166 p.

Lachmann, Richard. (2003), Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe. NY: Oxford University Press, 314 p.

Longrigg, Stephen, (1958). Syria and Lebanon Under French Mandate. London: Oxford University Press

Lund, Aron. (2012), Syrian Jihadism. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, 50 p. [On-line resource]. – URL: <http://www.ui.se/upl/files/77409.pdf>

Lund, Aron. (2013), Syria's Salafi insurgents: The rise of the Syrian Islamic Front. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, 51 p.

Lvov, Petr. (2015), Syrian Regime is Going Down in Flames, in New Eastern Outlook, May 15 [On-line resource]. – URL: <http://journal-neo.org/2015/05/15/rus-siriya-rezhim-by-stro-slabeet/>

Malashenko, Aleksei. Politicheskii islam: mirnoe sosuchstvomavie ili global'noe protivostoianie, in Otechestvennye zapiski, 2001, no 1 [On-line resource]. – URL: <http://www.strana-oz.ru/2001/1/politicheskiy-islam-mirnoe-sosushchestvovanie-ili-globalnoe-protivostoyanie>

McPherson, James. (2003), Revisionist Historians, in Perspectives on History. The Newsmagazine of American Historical Association. 2003. Vol. 41. No 6. September. P. 2.

Mikheev, Vladimir. (2016), Federalization or balkanization for Syria?, in Russia and India Report, February 26 [On-line resource]. – URL: http://in.rbth.com/world/2016/02/29/federalization-or-balkanization-for-syria_571697

Naumkin, Vitalii. (2014), Tsivilizatsiia i krizis natsii-gosudarstv, in Rossiia v global'noi politike, 19 fevralia [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/number/Tsivilizatcii-i-krizis-natsii-gosudarstv-16393>

Nguyen-Phuong-Mai, Mai. (2015), Syrian Alawites: Their history, their future, in The Islamic Monthly, October 28 [On-line resource]. – URL: <http://theislamicmonthly.com/syrian-alawites-their-history-their-future/>

Orlov, Alexander. (2013), Borders Are Going to Be Redrawn in the Middle East, in New Eastern Outlook, April 22 [On-line resource]. – URL: <http://journal-neo.org/2013/04/22/borders-are-going-to-be-redrawn-in-the-middle-east/>

Ostal'skii, Andrei. (2016), Razdelit' Siriю, in Radio svobody, 3 marta [On-line resource]. – URL: <http://www.svoboda.org/a/27584494.html>

Parasiliti, Andrew; Reedy, Kathleen; Wasser, Becca. (2017), Preventing State Collapse in Syria. Santa-Monica: RAND corporation. 20 p. [On-line

resource].

–

URL:

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE219/RAND_PE219.pdf

Patel, David Siddhartha. (2015), Remembering Failed States in the Middle East, in *Rethinking Nation and Nationalism*. Washington: The Project on Middle East Political Science, pp. 29–32.

Provence, Michael. (2005). *The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism*. Austin: University of Texas Press

Qaddour, Jomana. (2013), Unlocking the Alawite Conundrum in Syria, in *The Washington Quarterly*, Vol. 36, No 4, pp. 67 – 78.

Rabinovich, Itamar. (1979). The Compact Minorities and the Syrian State, 1918–1945, in *Journal of Contemporary History*, Vol. 14, No 4, pp. 693–712.

Rousseau, Elliott. (2014). The Construction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in the Syrian Civil War, in *BSU Honors Program Theses and Projects*. Item 66 [On-line resource]. – URL: http://vc.bridgew.edu/honors_proj/66

Salamandra, Christa. (2013), Sectarianism in Syria: Anthropological Reflections, in *Middle East Critique*, Vol. 22, No 3, pp. 303–306.

Salm, Randall. (2016), *The Transformation of Ethnic Conflict and Identity in Syria*. A Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at George Mason University. George Mason University, 323 p.

Schaebler, Birgit. (2013), Constructing an Identity between Arabism and Islam: The Druzes in Syria, in *The Muslim World*. Vol. 103, no 1, pp. 62–79.

Schiøtz Worren, Torstein. (2007), *Fear and Resistance. The Construction of Alawi Identity in Syria*. Master thesis in human geography. Dept. of Sociology and Human Geography. Oslo: University of Oslo, 118 p.

Shakdan, Catherine. (2016), The Syrian deception: on the Balkanization of the Greater Middle East, in *American Herald Tribune*, February 25 [On-line resource]. – URL: <http://www.ahtribune.com/opinion/570-balkanization-me.html>

Silverberg, Mark. (2013), The Balkanization of Syria. The country isn't going to become a stable, unified state again in the foreseeable future, in *Arutz Sheva*, October 28 [On-line resource]. – URL: <http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/14024>

Skriba, Andrei, Novikov, Dmitrii. (2016), Blizhnii Vostok: osnovnye tendentsii, in *Rossiia v global'noi politike*, 13 oktiabria [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/valday/Blizhnii-vostok-osnovnye-tendentsii-18113>

Smith, Anthony. (1991), *National Identity*. NY: Penguin

Smith, Anthony. (1992), Nationalists and Historians, in *International Journal of Comparative Sociology*, Vol. XXXIII, no 1–2, pp. 58–80.

Smith, Anthony. (1999), *Myth and Memories of the Nation*. Oxford University Press

- Smith, Anthony. (2003), *Chosen Peoples*. Oxford University Press
- Snell, Arthur. (2013), *Conflict in Syria: An Historical Perspective*, in *Caribbean Journal of International Relations and Diplomacy*, Vol. 1, No. 4, December, pp. 49–59
- Tekdal Fildis, Ayse, (2012), *Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria*, in *Middle East Policy*, Vol. XIX, No 2 [On-line resource]. – URL: <http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/roots-alawite-sunni-rivalry-syria>
- Vertiaev, Kirill, Ivanov, Stanislav. (2015), *Kurdsii natsionalizm. Istoriia i sovremennost'*. Moskva: URSS, 352 s.
- Wagner, Daniel. (2015), *The Brave New World of 'Syrianization'* [On-line resource]. – URL: http://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/the-brave-new-world-of-sy_b_2989934.html
- Watenpugh, Keith D. (1996), “Creating Phantoms”: Zaki al-Arsuzi, the Alexandretta Crisis, and the Formation of Modern Arab Nationalism in Syria, in *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 28, No. 3, pp. 363–389.
- Winter, Stefan. (1999), *La révolte alaouite de 1834 contre l'occupation égyptienne: perceptions alaouites et lecture ottomane*, in *Oriente Moderno*, Vol. 79, No 3, pp. 60–71.
- Winter, Stefan. (2016), *A history of the Alawis: From medieval Aleppo to the Turkish Republic*. Princeton University Press.
- Zisser, Eyal. (2006), *Who's afraid of Syrian nationalism? National and state identity in Syria*, in *Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No 2, pp. 179–189.

ВООБРАЖАЯ И ИЗОБРЕТАЯ СИРИЮ: АЛАВИТЫ КАК ФРОНТИРНЫЙ СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЦИИ В АРАБСКОМ МИРЕ

Кирчанов М.В.

Максим В. Кирчанов, Воронежский государственный университет, 394000, Россия, г. Воронеж, Пушкинская 16 Эл. почта: maksymkyrchanoft@gmail.com

Автор анализирует трансформации сообщества алавитов в контексте развития национализма и его основных политических производных, в том числе «нации» и «национального государства». Эта статья представляет собой попытку перенести западные принципы и методы исследований национализма в восточные и неевропейские контексты. Автор, с одной стороны, использует подходы, предложенные для анализа генезиса капитализма и фашизма, а с другой – трансплантирует их в восточные политические контексты. Автор предполагает, что западные теоретические подходы к изучению национализма применимы к анализу истории алавитов. Предполагается, что алавиты, в отличие от других сирийских арабов, приблизились к пониманию самих себя как воображаемого сообщества и изобрели свои политические традиции. Объективные исторические предпосылки для трансформации этого сообщества в нацию отсутствовали

или были минимальными. Внешние негативные факторы, в том числе непризнание алавитов другими мусульманами, стимулировали социальные и экономические преобразования, ускорили модернизацию этого сообщества, вдохновили его на консолидацию и способствовали развитию авторитарного политического режима в Сирии. Алавиты актуализировали интеллектуальные тактики и стратегии, которые позволили им «вспомнить» нацию в отличие от других сирийских арабов, которые предпочли «забыть» нацию, потому что ценности и принципы уммы имели большее значение и были более привлекательными для них.

Ключевые слова: Сирия, алавиты, нация, национальное государство, национализм, воображаемые сообщества, изобретение традиций

Список литературы

Akimov, Aleksandr. (2012), *Stsenarii razvitiia stran Vostoka na dolgosrochnuiu perspektivu*, in *Vostochnaia analitika. Ezhegodnik 2012. Tendentsii, perspektivy, prognozy razvitiia stran Vostoka*. Moskva: Institut vostokovedeniia RAN, ss. 5–13.

Anderson, Benedict. (1983), *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. NY: Verso, 160 p.

Anderson, Benedict. (1983), *Language and Power. Exploring Political Cultures in Indonesia*. Cornell: Cornell University Press, 352 p.;

Batatu, Hanna. (1999), *Syria's Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics*. Princeton University Press, Jew Jersey

Bērziņš, Jānis. (2013), *Civil War in Syria: Origins, Dynamics, and Possible Solutions*, in *Strategic Review of National Defence Academy of Latvia*, No 7, 12 p. [On-line resource]. – URL: <http://www.mil.lv/~media/NAA/AZPC/SA-07p.ashx>

Bolliger, Monika. (2011), *Writing Syrian History while Propagating Arab Nationalism. Textbooks about Modern Arab History under Hafiz and Bashar al-Asad*, in *Journal of Educational Media, Memory, and Society*, Vol. 3, Issue 2, Spring, pp. 96–112.

Briscoe, Ivan; Janssen, Floor; Smits, Rosan. (2012), *Stability and economic recovery after Assad: key steps for Syria's post-conflict transition*. The Hague: Conflict Research Unit – The Clingendael Institute, pp. 7, 9.

Burke, Edmund, (1973). *A Comparative View of French Native Policy in Morocco and Syria, 1912–1925*, in *Middle Eastern Studies*, Vol. 9, No. 2, pp. 175–186.

Burr, Vivien. (1995), *An introduction to Social Constructionism*. L.: Routledge

Choueiri, Youssef. (2000). *Arab Nationalism. A History*. Oxford: Blackwell

Cleveland, William. (1994), *A History of the Modern Middle East*. Oxford: Westview Press

Dawisha, Adeed. (2003), *Arab Nationalism in the Twentieth Century – From Triumph to Despair*. Princeton University Press

Dolgov, Boris. (2011), *Krizis v Sirii: vnutrennie i vneshnie faktory*, in *Vostochnaia analitika. Ezhegodnik 2011. Ekonomika i politika stran Vostoka*. Moskva: Institut vostokovedeniia RAN, ss. 181–187.

Farouk-Ali, Aslam. (2014), *Sectarianism in Alawi Syria: Exploring the Paradoxes of Politics and Religion*, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 34, No 3, pp. 207–226.

Filonik, Aleksandr. (2011), *Siriia: reformy i politika*, in *Vostochnaia analitika. Ezhegodnik 2011. Ekonomika i politika stran Vostoka*. Moskva: Institut vostokovedeniia RAN, ss. 177–180.

Friedman, Yaron. (2010), *The Nuṣayrī-ʿAlawīs An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria*. NY – L.: Brill.

Gaub, Florence. (2016), *Syrian Separation: Why division is not the answer*, in *Security Policy Working Paper (Federal Academy for Security Policy)*, No. 17 https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/working_paper_2016_17.pdf

Gaub, Florence; Pawlak, Patryk. (2013), *Sykes-Picot and Syria*, in *Issue Alert. European Union Institute for Security Studies*, no 34, October, pp. 1 – 2.

Gellner, Ernest. (1983), *Muslim Society*. Cambridge University Press, 267 p.

Gellner, Ernest. (1983), *Nations and Nationalism*. Cornell: Cornell University Press, 150 p.

Griffin, Roger. (1991), *The Nature of Fascism*. NY: St. Martin's Press.

Griffin, Roger. (2003), *From Slime Mould to Rhizome: An Introduction to the Groupuscular Right*, in *Patterns of Prejudice*. Vol. 37. No 1. P. 27-50.

Griffin, Roger. (2007), *Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler*. Hampshire and NY: Palgrave

Griffin, Roger. (2008), *A Fascist Century*. Hampshire and NY: Palgrave

Haddad, Bassam. (2012). *Business Networks in Syria. The political economy of authoritarian resistance*. Stanford: Stanford University Press

Haddad, Bassam. (2012). *Syria, the Arab uprisings, and the political economy of authoritarian resistance*, in *Interface Journal*, Vol. 4, No 1, pp. 113 – 130.

Heard, Linda. (2016), *Balkanization of Syria is a catastrophic idea*, in *Arab News*, March 23 [On-line resource]. – URL: <http://www.arabnews.com/columns/news/899396>

Heras, Nicholas. (2013), *The Potential for an Assad statelet in Syria*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy

Hof, Frederic; Simon, Alex. (2013), *Sectarian Violence in Syria's Civil War: Causes, Consequences, and Recommendations for Mitigation*. Washington:

The Center for the Prevention of Genocide, United States Holocaust Memorial Museum

Hroch, Miroslav. (1986), *Evropská národní hnutí v 19. století*. Praha: Svoboda; Hroch, Miroslav. (1971), *Obrození malých evropských národů*. Praha: Universita Karlova, 115 s.

Hroch, Miroslav. (2000), *Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations*. Columbia University Press, 220 p.

Illarionov, Andrei. (2006), *Bar'ery nesvobody*, in *Kommersant*, 27 marta [On-line resource]. – URL: <http://kommersant.ru/doc/660915>

Kaplan, Robert. (1993), *Syria: Identity Crisis*. Hafez-al Assad has so far prevented the Balkanization of his country, but he can't last forever, in *The Atlantic*, February [On-line resource]. – URL: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1993/02/syria-identity-crisis/303860/>

Khaddour, Kheder. (2015), *The Alawite Dilemma*, in Stolleis, Friederike, ed. (2015), *Playing the Sectarian Card Identities and Affiliations of Local Communities in Syria*. Beirut: Friedrich-Ebert-Stiftung – Dakroub Printing Press s.a.l., pp. 11–26.

Khoury, Philip. (1987). *Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920–1945*. Princeton: Princeton University Press

Khoury, Philip. (1981). *Factionalism among Syrian Nationalists during the French Mandate*, in *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 13, No 4, pp. 441–469.

Kirchanov, Maksim. (2009), *Natsionalizm i modernizatsiia v Indonezii v XX veke*. Voronezh: Nauchnaia kniga, 250 s.

Kuznetsov, Vasilii, Salem, Walid. (2016), *Bezal'ternativnaia hrupkost': sud'ba gosudarstva-natsii v arabskom mire*, in *Rossiia v global'noi politike*, 13 marta [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natcii-v-arabskom-mire-18043>

Kuznetsov, Vasilii. (2015). *IG – al'ternativnaia gosudarstvennost'*, in *Rossiia v global'noi politike*, 13 oktiabria [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/number/IG--alternativnaya-gosudarstvennost-17739>

Lachmann, Richard. (1987), *From manor to market. Structural change in England, 1536-1640*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 166 p.

Lachmann, Richard. (2003), *Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe*. NY: Oxford University Press, 314 p.

Longrigg, Stephen. (1958). *Syria and Lebanon Under French Mandate*. London: Oxford University Press

Lund, Aron. (2012), Syrian Jihadism. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, 50 p. [On-line resource]. – URL: <http://www.ui.se/upl/files/77409.pdf>

Lund, Aron. (2013), Syria's Salafi insurgents: The rise of the Syrian Islamic Front. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, 51 p.

Lvov, Petr. (2015), Syrian Regime is Going Down in Flames, in New Eastern Outlook, May 15 [On-line resource]. – URL: <http://journal-neo.org/2015/05/15/rus-siriya-rezhim-by-stro-slabeet/>

Malashenko, Aleksei. Politicheskii islam: mirnoe sosuchstvomavie ili global'noe protivostoianie, in Otechestvennye zapiski, 2001, no 1 [On-line resource]. – URL: <http://www.strana-oz.ru/2001/1/politicheskii-islam-mirnoe-sosushchestvovanie-ili-globalnoe-protivostoyanie>

McPherson, James. (2003), Revisionist Historians, in Perspectives on History. The Newsmagazine of American Historical Association. 2003. Vol. 41. No 6. September. P. 2.

Mikheev, Vladimir. (2016), Federalization or balkanization for Syria?, in Russia and India Report, February 26 [On-line resource]. – URL: http://in.rbth.com/world/2016/02/29/federalization-or-balkanization-for-syria_571697

Naumkin, Vitalii. (2014), Tsivilizatsiia i krizis natsii-gosudarstv, in Rossiia v global'noi politike, 19 fevralia [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/number/Tsivilizatsiia-i-krizis-natsii-gosudarstv-16393>

Nguyen-Phuong-Mai, Mai. (2015), Syrian Alawites: Their history, their future, in The Islamic Monthly, October 28 [On-line resource]. – URL: <http://theislamicmonthly.com/syrian-alawites-their-history-their-future/>

Orlov, Alexander. (2013), Borders Are Going to Be Redrawn in the Middle East, in New Eastern Outlook, April 22 [On-line resource]. – URL: <http://journal-neo.org/2013/04/22/borders-are-going-to-be-redrawn-in-the-middle-east/>

Ostal'skii, Andrei. (2016), Razdelit' Siriui, in Radio svobody, 3 marta [On-line resource]. – URL: <http://www.svoboda.org/a/27584494.html>

Parasiliti, Andrew; Reedy, Kathleen; Wasser, Becca. (2017), Preventing State Collapse in Syria. Santa-Monica: RAND corporation. 20 p. [On-line resource]. – URL: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE219/RAND_PE219.pdf

Patel, David Siddhartha. (2015), Remembering Failed States in the Middle East, in Rethinking Nation and Nationalism. Washington: The Project on Middle East Political Science, pp. 29–32.

Provence, Michael. (2005). The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism. Austin: University of Texas Press

Qaddour, Jomana. (2013), Unlocking the Alawite Conundrum in Syria, in The Washington Quarterly, Vol. 36, No 4, pp. 67 – 78.

Rabinovich, Itamar. (1979). The Compact Minorities and the Syrian State, 1918–1945, in *Journal of Contemporary History*, Vol. 14, No 4, pp. 693–712.

Rousseau, Eliott. (2014). The Construction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in the Syrian Civil War, in *BSU Honors Program Theses and Projects*. Item 66 [On-line resource]. – URL: http://vc.bridgew.edu/honors_proj/66

Salamandra, Christa. (2013), Sectarianism in Syria: Anthropological Reflections, in *Middle East Critique*, Vol. 22, No 3, pp. 303–306.

Salm, Randall. (2016), The Transformation of Ethnic Conflict and Identity in Syria. A Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at George Mason University. George Mason University, 323 p.

Schaebler, Birgit. (2013), Constructing an Identity between Arabism and Islam: The Druzes in Syria, in *The Muslim World*. Vol. 103, no 1, pp. 62–79.

Schiøtz Worren, Torstein. (2007), Fear and Resistance. The Construction of Alawi Identity in Syria. Master thesis in human geography. Dept. of Sociology and Human Geography. Oslo: University of Oslo, 118 p.

Shakdan, Catherine. (2016), The Syrian deception: on the Balkanization of the Greater Middle East, in *American Herald Tribune*, February 25 [On-line resource]. – URL: <http://www.ahtribune.com/opinion/570-balkanization-me.html>

Silverberg, Mark, (2013), The Balkanization of Syria. The country isn't going to become a stable, unified state again in the foreseeable future, in *Arutz Sheva*, October 28 [On-line resource]. – URL: <http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/14024>

Skriba, Andrei, Novikov, Dmitrii. (2016), Blizhnii Vostok: osnovnye tendentsii, in *Rossii v global'noi politike*, 13 oktiabria [On-line resource]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/valday/Blizhnii-vostok-osnovnye-tendentsii-18113>

Smith, Anthony. (1991), *National Identity*. NY: Penguin

Smith, Anthony. (1992), Nationalists and Historians, in *International Journal of Comparative Sociology*, Vol. XXXIII, no 1–2, pp. 58–80.

Smith, Anthony. (1999), *Myth and Memories of the Nation*. Oxford University Press

Smith, Anthony. (2003), *Chosen Peoples*. Oxford University Press

Snell, Arthur. (2013), Conflict in Syria: An Historical Perspective, in *Caribbean Journal of International Relations and Diplomacy*, Vol. 1, No. 4, December, pp. 49–59

Tekdal Fildis, Ayse, (2012), Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria, in *Middle East Policy*, Vol. XIX, No 2 [On-line resource]. – URL: <http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/roots-alawite-sunni-rivalry-syria>

Vertiaev, Kirill, Ivanov, Stanislav. (2015), *Kurdsii natsionalizm. Istoriia i sovremennost'*. Moskva: URSS, 352 s.

Wagner, Daniel. (2015), The Brave New World of ‘Syrianization’ [On-line resource]. – URL: http://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/the-brave-new-world-of-sy_b_2989934.html

Watenpaugh, Keith D. (1996), “Creating Phantoms”: Zaki al-Arsuzi, the Alexandretta Crisis, and the Formation of Modern Arab Nationalism in Syria, in *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 28, No. 3, pp. 363–389.

Winter, Stefan. (1999), La révolte alaouite de 1834 contre l’occupation égyptienne: perceptions alaouites et lecture ottomane, in *Oriente Moderno*, Vol. 79, No 3, pp. 60–71.

Winter, Stefan. (2016), *A history of the Alawis: From medieval Aleppo to the Turkish Republic*. Princeton University Press.

Zisser, Eyal. (2006), Who’s afraid of Syrian nationalism? National and state identity in Syria, in *Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No 2, pp. 179–189.

ОТ ВОЙНЫ К ДИПЛОМАТИИ: РОЛИ ИНДЕЙСКИХ ЖЕНЩИН НА
АМЕРИКАНСКОМ ФРОНТИРЕ

Якушенкова О.С.

Якушенкова Оксана Сергеевна, ГлобалЛаб
115432 Москва, Россия, Пр. Андропова 18, ст. 5, Эл. почта: ninawari@yandex.ru

Драматические события, происходящие на американском фронтире коренным образом поменяли роль индейской женщины в традиционном обществе. Исходя из концепции трехчленного деления фронта на особые стадии генезиса этого сложного явления, автор показывает, как меняется положение индейской женщины, и как она постепенно вынуждена менять свой статус, переходить к новым ролям в обществе. На примере судеб нескольких представительниц различных индейских племен автор демонстрирует, как традиционный статус индейской женщины пополнялся новыми для нее функциями. Прежде всего эти функции были связаны с военными событиями на фронтире, когда американская армия пыталась сломить сопротивление индейских племен, загнав их в резервации. Индейские женщины вынуждены были взять оружие и встать на защиту своего народа. Не свойственная ей функция воина была навязана ей самими событиями этого периода. И в ряде случаев она достойно справилась с этой задачей.

Но, будучи по своей природе медиатором, индейская женщина в новый период начала выполнять функцию посредника, дипломата, коммуникатора между миром белых и индейским племенем. Изменение статусных ролей индейской женщины было связано также и с получением ей европейского образования, что давало ей множество преимуществ и в ряде случаев открывало перед ней новые возможности.

Наступление периода постфронтира привело к тому, что фронтирные женщины, представители коренных народов, выполнили еще одну важную фронтирную миссию, оказавшись впереди ряда цивилизационных процессов. Они явились блестящими пропагандистами культурного достояния своих народов среди белого населения США.

Ключевые слова: индеанка, фронтир, американо-индейские отношения, Тоби Винема Риддли, предфронтир, женщина-воин, модокская война, Сара Виннемука, пайюты, дипломатия, постфронтир.

Индейской женщине, получившей в мире белых собирательное наименование «скво», длительное время отводилось совершенно незаметная и незначительная роль – нечто вроде безликой спутницы мужчины (индейца или белого), безропотно следующей за своим мужем. А коль скоро, то и внимание ей в описаниях путешественников, дневниках и прочем было уделено совсем немного.

Правда, в XIX в. эта ситуация, в связи с появлением феминистской литературы в США, несколько изменилась. В обществе начали активно пропагандироваться не только образы белых женщин, но и индеанок, сыгравших важную роль в истории американского общества.

Помимо объекта сексуального насилия со стороны мужчин, стала очевидна и другая роль индейской женщины в межкультурном диалоге –

политика, гаранта мира и даже миротворца. Естественно, что центральной фигурой этой новой темы стала Покахонтас, функция которой в англо-индейских отношениях была определена, как спасительницы, подательницы благ первым поселенцам (и прежде всего Дж. Смит), миротворца и, по сути, матери новой метисной нации.

Мир индейской женщины – еще до сих пор является темой, изученной американскими учеными очень слабо. Причиной этому явилось то, что большинство ученых антропологов, занимавшихся описанием индейского общества в XIX в. были мужчинами. Они слабо представляли мир женщины, не всегда обращали внимание на него, а если даже и пытались разобраться, то их взгляд был несколько поверхностным в силу того, что у них не было доступа в этот сложный мир. Появившиеся в наше время исследования женщин, проведенные женщинами, уже не могут дать полной картины, а лишь являются запоздалыми попытками воссоздать его по отрывочным сведениям (Mann, *Daughters of Mother Earth: the wisdom of Native American women.*, 2006).

Как нам кажется, это так характерно для предфронттира. Роль первых женщин (Покахонтас, Сакагавеа) освещена гораздо лучше, чем судьба последующих героинь. Хотя их судьбой восхищались, но память о них была слишком короткой, очень скоро предфронттир сменился фронтиром, а значит, закончился период «знакомства» и первого робкого диалога, когда путешественники или трапперы еще так нуждались в индейской поддержке, легко брали в жены индейских женщин и также легко расставались с ними, лишь только оканчивался срок их работы или службы.

Для фронта были характерны другие герои: воины и дипломаты. Теперь роль одних оценивалась по тому, сколько врагов они убили, а других – по заключенным договорам.

Военное время даже из женщин делало героинь, и женщины становились воинами и снискали себе славу как воины. Достаточно упомянуть несколько имен индейских женщин, принявших участие в сражении при Литл-Биг Хорн. Вряд ли бы мы узнали их имена и подвиги, если бы не это сражение. Среди этих женщин была Её Орлиная Рубашка (Двигающаяся Рубашка), Женщина-Антилопа, Минни Полное Дерево, Дорога Теленка Бизона, Идущая со Звездами и др. Первая мстила за своего брата, только что убитого в этом сражении. Она сражалась рядом со своим отцом и убила двух американских солдат. Одного из револьвера, другого ножом. После сражения некоторые даже рассказывали, что она была среди тех, кто ранил генерала Кастера (Sandoz, стр. 17).

Вторая следовала за своим племянником и подбадривала его боевой дух своими песнями. Минни совершила несколько подвигов, за что ей было разрешено носить боевой головной убор.

Дорога Теленка Бизона была не менее прославленная женщина-воин. Она снискала себе боевую славу еще в битве при Роузбаде, во время которой она спасла своего брата, когда у него убили лошадь. Несмотря на интенсивный огонь со стороны американских кавалеристов, она прискакала к нему и вынесла его из под огня. В результате этого события индейцы стали называть это сражение «Битвой, в которой сестра спасла своего брата» (Grinnel, *The Fighting Cheyennes*, p. 336).

Другой известной женщиной-воином из племени шайенов была Женщина с Желтыми Волосами (Ehyophsta). Она не раз ходила в военные походы и прославилась своей храбростью и решительностью. По словам Г. Гриннела, женщины, которые ходили на войну, формировали свое тайное военное общество, на заседания которого мужчины не допускались (Grinnel, *The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life*. vol.1, p. 47).

У племени черноногих была своя известная женщина-воин – Бегущий Орел (Коричневая Ласка). Точно не известна дата ее рождения, возможно, она родилась в начале XIX в., но и дата смерти тоже не известна. Тем не менее, о ней сложено множество легенд у племени черноногих. Она начала свою карьеру воина очень рано, попросив своего отца взять ее сначала на охоту на бизонов, а затем и в военный поход. Вскоре она снискала славу, вернувшись из одного похода с десятком лошадей. В следующий раз она в одиночку напала на нескольких воинов, укравших у черноногих лошадей. Одного убила, а другой в страхе ускакал.

Так как многие в племени отказывались признавать за женщиной право на такие занятия, ей пришлось пройти ритуал поиска видения и получить личного духа помощника, как и было положено будущему воину. После этого она отправилась в военный поход, а после него была допущена на ритуалы, в которых участвовали только мужчины. После прохождения всех ритуалов ей было дано мужское имя Бегущий Орел вместо ее женского имени Коричневая Ласка (Bataille & Laurie, p. 261).

Как сообщает американский антрополог Оскар Льюис, институт «женщин с мужским сердцем» был очень развит у черноногих даже в XX в. Как правило, он применялся только к замужним женщинам, но только к тем, чей экономический статус был высок (Lewis, pp. 175-176). По его исследованиям, из 109 женщин в резервации 14 женщин с «мужским сердцем» владели большей собственностью, чем все остальные женщины (Lewis, p. 177). Но быть женщиной с «мужским сердцем» не означает просто вести себя агрессивно. Это понятие включало массу поведенческих оттенков.

Индейские женщины-воины сражались и на стороне генерала Кастера и других американских генералов. Это, прежде всего, женщина из племени кроу – Прекрасный Шит (Linderman) (Stevenson, p. 99). Она была женой индейца Идет Вперед – разведчика на службе Кастера. По ее словам, среди

кроу имелось несколько «женщин-воинов, которые ходили на войну с мужчинами, но мужчины не любят говорить об этом» (Smith, p. 111).

Можно было бы перечислить много имен или случаев, когда женщины принимали участие в сражениях, но следует также понимать, что подобные формы маскулинного поведения, скорее всего, являлись результатом активных военных действий. Как говорили Гриннелу его информанты, раньше не существовало традиции участия женщин в военных действиях (Grinnel, *The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life*. vol.1, p. 157).

Таким образом, если для предыдущего периода предфронтира ведущей фигурой в культурном диалоге и своеобразном эталоне межкультурных отношений была жена траппера, скво, как американцы презрительно называли ее, то в последующий период не обошлось без влияния мужской модели поведения. Хотя сами мужчины не одобряли такую модель, однако, она начала активно формироваться в ряде прерийных племен. Женщины-воины были среди дакота, шайеннов, кроу, апачей, модоков и т.д. Вместе с тем, не существовало каких-либо причин для закрепления данного института, и с окончанием военных действий, такой поведенческий паттерн полностью изжил себя.

Появление подобной формы поведения не означало изменения статуса индейской женщины. Даже ее военные подвиги не давали ей возможности принимать участие в военных советах, и все же описанное выше маскулинное или даже воинственное поведение, выражавшееся в подчеркнутой жестокости и браваре, было реакцией не только на военные действия, но и на некоторое снижение статуса индейской женщины, возникшего под влиянием новых экономических и социальных условий, прежде всего из-за перехода к конной охоте на бизона.

Другим способом выживания для женщины было повышение ее роли в тайных обществах, что представляло женщинам дополнительные возможности внутренней борьбы за свои права.

Но не только война становилась новым уделом для индейских женщин. Очень часто женщина активно проявляла себя и в другой деятельности, больше отвечавшей ее характеру и наклонностям, – дипломатии. Как уже говорилось ранее, для женщины было характернее договариваться, чем воевать. Ей была свойственна готовность идти на компромиссы, выступать посредницей между конфликтующими сторонами. Это мы видели и в поведении белых женщин, к этому были склонны и индейские женщины.

Правда, очень часто индейское и тем более белое общество лишало их этой возможности, но в силу своего сильного характера и жизненной потребности спасти своих близких они шли наперекор трудностям, преодолевая все препятствия, а точнее расовые и социальные барьеры.

Очень ярко все это проявилось в судьбе некоторых индейских женщин фронта, чья героическая биография получила отражение в различных описаниях и исследованиях. Рассмотрим хотя бы некоторые из них. Так уж получилось, что они носили очень схожие имена, хотя происходили из разных племен. Первую звали Винема или Каитчкноа (1836-1932). Она происходила из знатного рода племени модоков из Северной Калифорнии и Орегона. Ещё будучи ребенком, она прославилась тем, что сумела провести каноэ со своими сверстниками сквозь бурные пороги реки Кламат. Именно за этот поступок она и получила имя Винема, что значит «Смелая женщина» (Сильная духом). Свое имя она подтвердила тогда, когда отказалась выходить замуж за соплеменника, заявив, что ее избранником будет Фрэнк Райдл, белый поселенец, который часто навещался в лагерь модоков.

Вскоре началась модокская война, и Винема оказалась между двух огней. Начав свою деятельность в качестве простого переводчика, она вскоре стала выполнять более высокую роль – посредника между американской администрацией и своим племенем, сыграв решающую роль в подписании мира в 1864 г. Но этот мир оказался недолговечным, так как действия американских властей носили явно непродуманный характер, что вылилось в новое выступление одного из частей племени под руководством двоюродного брата Винемы, известного под именем Капитан Джек. Во время военных действий Винема снова начала выступать как посредник между своим племенем и американскими военными.

Как и предполагала Винема, когда переговоры зашли в тупик, Капитан Джек вытащил револьвер и убил генерала, другой воин несколько раз выстрелил в капитана Мичема. Третий убил солдата, стоящего рядом. Винема заслонила своим телом капитана Мичема и не дала модокам прикончить его. По сути, благодаря стараниям Винемы, капитан выжил, хотя он был ранен семью пулями.

Капитан Джек и несколько остальных модоков были вскоре пойманы и повешены (Hardinge, pp. 92-100). Перед смертью Капитан Джек просил Мичема рассказать миру, как все это происходило, и тот описал все в своей книге «Ви-не-ма (Женщина-вождь) и ее люди» (Meacham).

Книга получила широкий резонанс, и Винема была приглашена в Вашингтон, где встретила с президентом Улиссом Грантом. В 1890 г. американское правительство, учитывая ее заслуги, назначило ей ежемесячную пенсию в размере 25 долларов. Но значительную часть этих денег она тратила на нужды своего племени (Sonnenborn, pp. 270-271).

Как мы видим из данного описания, Винема изначально выступила медиатором между двумя культурами и обществами. В силу того, что ее жизнь совпала с военными действиями, ей пришлось выступать в качестве посредника, хотя и ее брат, и белые генералы отказывались признавать за ней

эту функцию. И все же Винема делала все возможное, чтобы сохранять мир в данном регионе.

Данный пример не единичен. История сохранила бы множество таких примеров, если бы за женщиной изначально признавалось право участвовать в подобных переговорах, а их усилия по выполнению функции медиатора не отвергались, особенно в сложные для обеих сторон периоды истории. Но все же, в силу своих устремлений к миру и посредничеству женщинам очень часто удавалось играть роль не только культуртрегера, но и медиатора, сводя на нет конфронтацию.

Весьма примечательно, что в качестве переговорщиков в Модокской войне принимали и другие индейские женщины. Так, кроме Винемы к модокам для переговоров посылали и Матильду – индейскую жену белого переселенца Роберта Уитли, и индейскую девушку по имени Артина Чоукс (Murray, p. 144).

В этом плане еще более убедителен пример с Виннемукка (1844-1891). Она происходила из племени пайютов, проживающего на территории современных штатов Невада, Орегон и Калифорния. Ее семья принадлежала к клану вождей. Первые белые появились на землях пайютов как раз в год ее рождения. Дед Виннемуки, вошедший в историю под именем Траки, пытался наладить с ними дружественные отношения, но все его усилия были напрасны.

Подозрение к белым усилилось, когда в 1847 г. небольшой отряд переселенцев, так называемой группы Доннер, оказался отрезанным в заснеженных горах. Начался голод, и белые выжили только за счет того, что съели своих умерших товарищей. Если быть точными, ели человеческое мясо в небольшой группе, отколовшейся от группы Доннер, о чем позднее написала дочь Джорджа Доннера в своих воспоминаниях (Houghton Donner, p. 82). Эта группа получила название «Утраченная надежда».

Так как пайюты, и в частности дед Виннемукки, участвовали в спасательной экспедиции, индейцы были хорошо осведомлены о происшедшем в группе Доннера, особенно в Утраченной Надежде, проводниками которой были два индейца. Рассказы о фактах антропофагии среди белых породили самую настоящую эпидемию страха среди пайютов, которые полагали, что скоро придут белые, чтобы убивать и поедать их.

Но не смотря на этот, в общем-то, печальный опыт первого общения с белыми, Виннемукка смогла преодолеть этот барьер, познакомившись ближе с миром белых с помощью своего деда капитана Траки. Она научилась бегло говорить по-английски и испански, а позднее приняла христианство, получив английское имя Сара. Следуя предсмертным наказам Траки, родители послали ее и других своих детей в школу в Сан Хосе в Калифорнии, но дети проучились там совсем немного, так как другие белые дети и их родители

были против того, чтобы в школе учились дети «дикарей» (Houghton Donner, p. 70). И их отослали домой.

Возвращение Виннемукки к семье совпало с трагическими событиями для пайютов, выразившимися в конфронтации с белыми и переселением индейцев в резервации. Ей и ее брату постоянно приходится лавировать между двумя враждебными лагерями, выступая посредниками. Даже американские офицеры нередко обращаются к ней за помощью в ведении переговоров (Houghton Donner, pp. 82-83).

Но с 1868 по 1871 гг. на землях индейцев вновь начались военные действия, и Сара Виннемукка была официально назначена переводчиком при американской армии.

После того, как пайюты вновь были помещены в резервацию, Сара продолжает свою посредническую роль между белыми и индейцами, работая переводчиком у агента по делам индейцев Сэма Пэриша. Дела у пайютов наладились, но вскоре Периш уехал, а на его место был послан другой агент – Уильям Райнхарт, известный своей коррумпированностью. Очередной раз Саре пришлось отстаивать интересы своего народа, за что она неоднократно высылалась из резервации Райнхартом.

Позднее Сара становится официальным переводчиком генерала О. Ховарда, порой даже выполняет работу скаута, но ее основная задача – поиск мира между индейцами и белыми (Zanjani, pp. 146-170). Значительная часть этих событий и роль Сары Виннемукки в военных действиях нашли отражение в воспоминаниях самого генерала О. Говарда, где он не раз дает ей высокую оценку (Howard, pp. 377-378, 387-388, 391-406, 417).

Со временем жизнь пайютов стала еще хуже, так как их переселили в резервацию индейцев якима, находящуюся на севере в штате Вашингтон. Причем это переселение проводилось суровой зимой, а пайюты, жившие ранее на юге, были просто не готовы к таким условиям. Чтобы решить судьбу своего племени, Виннемукка собирается встретиться с президентом, и чтобы заработать деньги на путешествие она вновь обращается к старому опыту – театрализованных лекций. Это шоу имело успех, «пайютскую принцессу» заметила пресса, и она смогла собрать деньги на поездку.

В Вашингтоне ей удалось встретиться с президентом и его секретарем Карлом Шурцем, который и пообещал решить вопрос о возвращении пайютов на прежние места проживания. Но, несмотря на это разрешение, резервационный агент так и не отпустил их из резервации, так как это привело бы к столкновениям с переселенцами, которым продали прежние земли пайютов.

Чтобы как-то привлечь общественность к проблемам индейцев, Сара вновь отправилась в турне с лекциями, чтобы собрать деньги в помощь своему народу. Теперь её путь снова лежал на восток, где она к своему удивлению получила широкую поддержку у американской общественности

Новой Англии. Это был 1883 г., и Восточное побережье уже было на пути к пересмотру своей индейской истории. Здесь ей удалось встретиться с двумя удивительными женщинами – сестрами Пибоди – Марией и Элизабет, которые оказали ей всестороннюю поддержку. С помощью М. Пибоди она пишет свою автобиографию «Жизнь среди пайютов». Книга увидела свет в 1883 г. и имела колоссальный успех у публики, став бестселлером. Эта книга стала первой книгой, написанной индеанкой, и первой книгой, написанной индейцем из племени, живущим к западу от Скалистых гор (Zanjani, p. 239).

Не исключено, что именно эти встречи и книга повлияли на Г. Дауэса, что выразилось в конечном итоге в разработке так называемого «Закона Дауэса» или «Закона о распределении земли», выработанного комиссией Дауэса для решения индейской проблемы. И хотя этот закон породил массу спекуляций индейской землей, тем не менее, он являлся своеобразной попыткой решить индейскую проблему, закрепив землю за индейцами.

После успешного турне по восточным штатам Сара приезжает в Неваду, где у ее брата Натчеза была ферма. Здесь по инициативе и поддержке М. Пибоди она открывает школу для индейских детей, где занятия велись не только на английском языке, как в обычных государственных школах, но и на индейских языках. К сожалению, это проект просуществовал недолго, так как у правительства не нашлось денег для финансирования подобной школы.

Умерла Виннемукка в 1891 г. в возрасте 48 лет, возможно от туберкулёза, от которого за несколько лет до этого умер ее муж. Последние ее годы прошли в Монтане, где она жила со своей сестрой Эльмой. Ее заслуги перед Америкой были увековечены памятником в Зале Славы в Вашингтоне. Она оказалась единственной индеанкой, удостоенной этой почести.

Как мы видим, судьба Сары Виннемукки совершенно неоднозначна. Были в ней взлеты и падения. Много раз она поступала, принимая решения разумом, хотя ее сердце была на стороне тех, против кого она выступала. В ее судьбе мы находим приметы как фронта, так и постфронта, недаром некоторые ее действия нашли такой отклик в сердцах жителей Новой Англии, где постфронт уже давно наступил, а их собственный восточный фронт, с его индейскими войнами был символом прошлой истории. В рамках постфронта развивалась ее учительская деятельность, сценическая, дипломатическая и т.д.

Но в целом, можно считать, что она была человек, во многом обогнавший свое время. Она смогла возвыситься над обстоятельствами, принять новые условия и начать действовать по правилам белого человека.

Вместе с тем, значительная часть ее жизни была связана с исполнением фронтирных ролей: женщина-воин, скаут, переводчик и т.д. Три раза она вступала в брак, но все три раза были неудачными.

Осмелимся предположить, что ее популярность и известность стала возможной отнюдь не из-за ее фронтирных доблестей в качестве скаута, переводчика и переговорщика, а в связи с постфронтирными социальными ролями: лектора, писателя, политика и пропагандиста.

В качестве доказательства этому можно привести тот факт, что в войне с племенем баннок рядом с Сарой Виннемуккой работала другая женщина из племени пайутов Матти Шенка (Zanjani, p. 162), впоследствии вышедшая замуж за брата Сары. Но практически мало что известно о ней и ее службе в армии у генерала Говарда, хотя, как и Сара Виннемукка, она всегда была на передовой.

Но такова была участь вторых героев, они всегда оказывались в тени других более известных фигур.

В последней четверти XIX в. ситуация постепенно начала меняться. Хотя на западном фронтире еще шли ожесточенные сражения с индейцами, тем не менее на Востоке, там, где проходила восточная граница трансмиссисипского фронта, постепенно начинали появляться ростки нового. Здесь уже вызревало такое явление, которое мы называли постфронтиром. На этой территории уже подрастало поколение новых американцев, не знавших, что такое «индейские войны», но зато постепенно начинавших остро осознавать потребность «быть американцами», а значит, стремиться к самоидентификации и поиску своих корней, своего исторического прошлого. В этом поиске находилось место и индейцу, который теперь был примером американского героического прошлого.

Но на Востоке выросло и новое поколение индейцев, которое тоже не знало, что такое индейско-белые войны, зато получило хорошее образование. Как правило, это новое поколение было связано с племенной верхушкой. Именно племенные вожди в наибольшей степени понимали значимость белого образования для своих детей. И по возможности не останавливались лишь на школьном образовании, но давали своим детям полноценное высшее образование.

Таким образом, культурный диалог на фронтире проходил разные стадии: от первых фрагментарных контактов раннего фронта, к активным, порой крайне враждебным взаимоотношениям середины века, до поиска возможных компромиссов и взаимопроникновения различных культурных элементов. И во все эти периоды женщины принимали в этом диалоге активное участие. Именно женщины, в силу своей социальной посреднической роли, оказались в эпицентре этого культурного диалога, и особенно хорошо это заметно на примере биографии Сакагавеа. Ей, в силу высокой роли женщин в традиционном индейском обществе было уготовано выполнить очень важную миссию первопроходца, зачинателя культурного диалога. Она как бы вводила белых в свой мир, знакомила их с ним,

покровительствовала им, даже порой защищала их (Покахонтас, Сакагавеа) и.д.

В последующую эпоху, когда форма культурного диалога принимает крайнюю конфронтационную форму, индейская женщина переходит к новым, не свойственным ей ролям: воина, скаута и т.д. Но и в этот период многие из женщин продолжают выполнять роль медиатора, посредника между двумя враждебными мирами, они мучаются, мечутся между ними, пытаются примерить их, найти компромисс, но, очень часто бывают отторгнуты обоими. И все же в силу многих обстоятельств, им порой удается выполнить свою важную посредническую функцию, вследствие чего отдельные представительницы и становятся национальными героями, и со временем оба общества отдадут им должное.

В последней четверти XIX в. культурные роли вновь изменились: хотя и здесь основная функция женщин была посредническая, тем не менее, сам характер диалога принял другую форму. Многие индеанки (как правило, дети вождей), получив белое образование, выступили просветителями, учителями своего народа, так же как и просветителями американской общественности. Отдельные представители этой когорты индейских женщин заняли самое высокое социальное положение в американском обществе, являясь эталоном не только для индейцев, но и для белых. Занимаясь писательской деятельностью, искусством, музыкой и т.д., они неизбежно привносили в американскую культуру свое индейское видение, тем самым обогащая ее, порой даже трансформируя, что в дальнейшем создавало плодородную почву для мультикультурализма и выразилось в устойчивом интересе ко всему индейскому уже в последней четверти XX в.

Конечно, данный анализ был выполнен на материале судеб отдельных представителей индейского общества, игравших существенную роль, и являвшихся своеобразной элитой в обеих культурах. Но в нашем случае было важно понять не численный или процентный состав участниц этого диалога, а выявить конкретные тенденции, происходящие в индейском обществе. Пусть участие в культурном диалоге тысяч других женщин так и осталось незамеченным, незафиксированным, однако с каждым годом усилиями многих исследователей становятся известными все новые и новые имена, которые, несомненно, расширяют наше понимание происходившего на американском фронтире и роли женщин в процессе складывания нового общества и новой национальной культуры.

Список литературы

Bataille, M., & Laurie, L. (2001). *Native American Women: A Biographical Dictionary*. N.Y.: Routledge.

Grinnel, G. B. (1923). *The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life*. vol.1. New Haven.

Grinnel, G. B. (1966). *The Fighting Cheyennes*. Norman: University of Nebraska Press.

Grinnel, G. B. (1972). *The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life*. Vol.2. Yale University Press.

Hardinge, S. (1873). *Modoc Jack or the Lion of the Lava Beds*. N.Y.

Houghton Donner, E. (1911). *The Expedition of the Donner Party and its Tragic Fate*. Chicago: A.C. McClurg.

Howard, O. O. (1907). *My Life and Experiences among our Hostile Indians*. Classic Textbooks.

Lewis, O. (1941). Manly-Hearted Women among the North Piegan. *American Anthropologist*, V. 43, N. 2, Part 1.

Linderman, F. B. (2003). *Pretty-shield. Medicine Woman of the Crow*. Norman: University of Nebraska Press.

Mann, B. A. (Ред.). (2006). *Daughters of Mother Earth: the wisdom of Native American women*. Westport: Greenwood Publishing Group.

Meacham, A. B. (1876). *Wi-Ne-Ma (The Woman-Chief) and Her People*. Hartford: American Publishing Co.

Murray, K. A. (1959). *The Modocs and Their War*. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1959.

Sandoz, M. (1966). *Cheyenne Autumn*. London: Hastings House.

Smith, S. L. (2000). *Reimagining Indians. Native Americans through Anglo eyes, 1880–1940*. N.Y.: Oxford University Press.

Sonneborn, L. (2007). *A to Z of American Indian Women*. N.Y.: Facts on File.

Stevenson, E. (2002). *Figures in a Western Landscape. Men and Women of the Northern Rockies*. Baltimore: Transaction Publishers.

Zanjani, S. S. (2001). *Sarah Winnemucca*. Lincoln: University of Nebraska Press.

FROM THE WAR TO DIPLOMACY: ROLES OF NATIVE AMERICAN WOMEN ON THE AMERICAN FRONTIER

Yakushenkova O.S.

Yakushenkova Oksana Sergeyevna, GlobalLab
115432 Moscow, Russia, Andropov Av., 18, block 5, E-mail: ninawari@yandex.ru

The dramatic events occurring on the American frontier radically changed the role of Native American women in a traditional society. Based on the concept of a tripartite division of the Frontier on the special stages of the Genesis of this complex phenomenon, the author shows

how the position of Native woman had changed, and as she was gradually forced to change her status, to move to new roles in the Native society. Taking as an example the fate of several representatives of various Native tribes, the author shows how the traditional status of Indian woman was supplemented with new functions. First of all, these functions were connected with the military events on the frontier when the American army tried to break the resistance of Native American tribes, driving them into reservations. Indian women were forced to take up arms and to defend their people. Not an inherent function of the warrior was forced on her by the events of this period. And, in many cases, she coped well with this task.

But being a mediator by her nature, a Native woman began to function in new period as a facilitator, a diplomat and a communicator between the worlds of the White man and Native Americans. The change of status roles by the Native women was associated also with getting her a European education that gave her many new advantages and in some cases has opened new opportunities for her to be accepted by both Worlds.

The onset of the period postfrontier led to the fact that Frontier Native women fulfilled another important frontier mission – to be in a head of some civilizational processes. They were brilliant propagandists of the cultural heritage of their peoples among the white population of the United States.

Keywords: Native American women, frontier, american-indian relations, Toby Winema Riddle, Prefrontier, warrior-woman, the Modoc war, Sarah Winnemucca, Paiute, diplomacy, Postfrontier.

References

Bataille, M., & Laurie, L. (2001). *Native American Women: A Biographical Dictionary*. N.Y.: Routledge.

Grinnel, G. B. (1923). *The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life*. vol.1. New Haven.

Grinnel, G. B. (1966). *The Fighting Cheyennes*. Norman: University of Nebraska Press.

Grinnel, G. B. (1972). *The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life*. Vol.2. Yale University Press.

Hardinge, S. (1873). *Modoc Jack or the Lion of the Lava Beds*. N.Y.

Houghton Donner, E. (1911). *The Expedition of the Donner Party and its Tragic Fate*. Chicago: A.C. McClurg.

Howard, O. O. (1907). *My Life and Experiences among our Hostile Indians*. Classic Textbooks.

Lewis, O. (1941). Manly-Hearted Women among the North Piegan. *American Anthropologist*, V. 43, N. 2, Part 1.

Linderman, F. B. (2003). *Pretty-shield. Medicine Woman of the Crow*. Norman: University of Nebraska Press.

Mann, B. A. (Ред.). (2006). *Daughters of Mother Earth: the wisdom of Native American women*. Westport: Greenwood Publishing Group.

Meacham, A. B. (1876). *Wi-Ne-Ma (The Woman-Chief) and Her People*. Hartford: American Publishing Co.

Murray, K. A. (1959). *The Modocs and Their War*. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1959.

Sandoz, M. (1966). *Cheyenne Autumn*. London: Hastings House.

Smith, S. L. (2000). *Reimagining Indians. Native Americans through Anglo eyes, 1880–1940*. N.Y.: Oxford University Press.

Sonneborn, L. (2007). *A to Z of American Indian Women*. N.Y.: Facts on File.

Stevenson, E. (2002). *Figures in a Western Landscape. Men and Women of the Northern Rockies*. Baltimore: Transaction Publishers.

Zanjani, S. S. (2001). *Sarah Winnemucca*. Lincoln: University of Nebraska Press.

ISSN: 2500-0225

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№2 (6)

2017

ISSN: 2500-0225

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific e-journal

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№2 (6)

2017